

БИБЛИОТЕКА



№ 7

1969



Валентин ПОНОМАРЕВ

РАССКАЖИ МОИМ ДЕВОЧКАМ...

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»
МОСКВА

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 7

Валентин ПОНОМАРЕВ

РАССКАЖИ МОИМ ДЕВОЧКАМ...

Издательство «ПРАВДА»

Москва. 1969

Валентин ПОНОМАРЕВ

Валентин Георгиевич Пономарев родился в Москве в 1923 году. Экстерном окончив среднюю школу, поступил в Московский авиационный институт, но вскоре ушел в армию. После армии учился в Московском государственном институте международных отношений. Профессионально журналистской и литературной работой начал заниматься с 1945 года — сначала в «Правде», затем в «Огоньке».

В. Г. Пономарев — член Союза писателей СССР, автор нескольких очерковых книг.

СОДЕРЖАНИЕ

Как родные	3
Расскажи моим девочкам...	8
Радость дающего	12
Нож в руке человека	17
Колька Иванович	21
Оборотень	39

КАК РОДНЫЕ

Надежда Иосифовна Лисовец теперь и заслуженный строитель БССР, и депутат горсовета, и вообще человек известный, а тогда была просто прорабом, каких тысячи. Помнится, когда на одной из минских строек мне показали очень уж неприметную в своей простоте, даже простоватости, худенькую женщину, то, несмотря на репортерский опыт, научивший ничему не удивляться, мне все же не верилось, что это и есть та самая героиня, которую я искал так долго и настойчиво.

Впрочем, мои первоначальные сомнения имели свою почву. Ведь во время войны в Белоруссии было больше тысячи партизанских отрядов, однако ни одним из них не командовала женщина, и потому в тихой и застенчивой Надежде Иосифовне поначалу никак не виделась та, что возглавляла боевой отряд, и не в родных лесах, а на далекой чужбине, да еще удостоилась звания офицера французской армии. Однако внешность и на сей раз обманула...

По-настоящему разговорились мы с Надеждой Иосифовной только вечером в уютной гостиной ее новой квартиры, и мне открылась еще одна истерзанная войной человеческая судьба.

Да и вечером-то беседа наладилась не сразу. Нелегко вспомнить о тех днях, месяцах и годах, когда жизнь могла оборваться каждую секунду. Жизнь узника гитлеровских застенков... Нелегко все это вспоминать.

...О войне она узнала так. Вместе с друзьями, студентами белорусского университета, возвращалась с практики, из Сочи, домой. Утром в сонный вагон вошел новый пассажир, посмотрел на их рюкзаки, на дорожные костюмы и серьезно спросил:

— На фронт?

— Какой фронт?

— Да ведь война...

Не поверили. На первой же станции подбежали к милиционеру. «Да, ребята, война. Уже Минск бомбили».

...Много горя обрушилось на эти плечи: умер муж, умер старший сын, теперь на руках Надежды второй сын, двухлет-

ний Валерий, старая мать и больная сестра с четырьмя де-
тишками.

На велосипеде — на первенстве республики Надежда заня-
ла третье место — она перевозила все семейство то из Минска
в деревню, то опять из деревни в Минск. По совету подпольщи-
ков поступила работать в отдел очистки при городской управе
оккупантов. Убирала снег с улиц. Работа изнурительная, и лю-
ди постоянно менялись. Это и позволяло Надежде с помощью по-
друг заручаться для партизан лишними «аусвайсами» — немец-
кими удостоверениями, вроде паспортов. Как фашисты узнали об
этом, неизвестно, но узнали, и Надежда попала в лапы СД. По-
сле допросов, пыток и тюрьмы посадили в вагон для скота и по-
везли на запад...

Надежда Иосифовна говорит тихо, медленно.

— Теперь, когда от легкого ветерка — температура и ка-
шель, я не знаю, как наши женщины все это перенесли... То,
что со скотом обращались лучше, — это не слова: о скоте забо-
тятся все же, чтобы он жил, а нас медленно убивали...

Выгрузили нас на самом берегу пролива Па-де-Кале. В пого-
жий день была видна Англия... Агенты немецких фирм осматри-
вали нас, щупали мускулы... Настоящий рынок рабов... Я была,
видать, еще здорова: отобрали для работы на шахте. Во фран-
цузском городке Тиле была та шахта. А жили в лагере Эро-
виль...

Длинной, длинной колонной — восемьсот человек по трое —
растягивались мы по дороге из лагеря к шахте. Голодные, за-
мученные, словно тени. Если кто падал, охранники тут же
пристреливали... Видели фильм «Судьба человека»? Так это точ-
ная копия...

Французы смотрели на нас со слезами на глазах. И при пер-
вом же удобном случае помогали чем-нибудь. Раньше я часто чи-
тала в газетах о международной солидарности людей труда. Те-
перь я знала конкретно, что это такое. Кто кинет батон хлеба,
кто сунет бутылку молока... Там так заведено, что мужчины бе-
рут с собой на работу завтраки: в сумку, похожую на противо-
газную, кладут эти свои припасы... И вот то рабочий, проезжая
мимо на велосипеде, незаметно передает такую сумку, то, смот-
ришь, летит завтрак из окна. Женщины передавали белье, чул-
ки, теплые вещи. Простые французы делили с нами, случалось,
последнее. Словом, как свои, близкие люди. Как род-
ные.

Мы, русские, были первыми женщинами, спустившимися в
тильскую железорудную шахту. Под землей темень, сырость, ду-
хота — многие теряли сознание. Каждый день обвалы: шахта

старая, и ремонтировать ее никто не собирался... Там, в Тиле,—огромное кладбище русских. Ежедневно хоронили по двадцать — тридцать невольников...

Гитлеровцы сопровождали нас только до шахты. Сами спускались боялись; под землей мы поступали в распоряжение французов. Наш мастер-француз был с длинными усами. Мы его прозвали «Таракан». Это по-доброму, просто чтобы назвать порусски. Его помощника мы звали Степаном. Это очень, очень хорошие люди!

Среди нас были и почти старухи и совсем еще дети. Фашисты решили строить в шахте подземный ангар. Взвалишь на горб мешок с цементом — пятьдесят килограммов — перед глазами круги. В лабиринте шахты, если отстанешь, дороги назад не найдешь: темно. У Степана был единственный фонарь на двадцать пять человек. Шли по двое — руку на плечо впереди идущего. Идем и поем «Интернационал»! И Степан по-своему, по-французски, подпевает.

На шахте работали итальянцы, алжирцы, чехи. Русским приходилось хуже всех. Для других хоть Красный Крест действовал, а нам ничего. Нам помогали только французские патриоты. В шахте работал механиком Жорж. Жена ему давала всегда два завтрака — второй для нас. Жорж сообщал нам все новости. Разговаривали рисунками. Нарисует карту, город, над ним самолет с бомбами — значит, бомбили фашиста.

Однажды меня и Анну Михайловну, мою подругу, Жорж позвал к себе домой. Все это тайно, конечно. У Жоржа собралось, наверное, с полсотни его друзей и соседей. Какой это был праздник! Мне две фотографии подарили. Вот они, сберегла их. Это Жорж в Париже, у Эйфелевой башни. А это его жена с дочкой. Милые, дорогие мне люди!

Жорж свел нас с партизанами. Повторную встречу организовали в лесу. Договорились о побеге. Сбежало шестьдесят четыре человека. Французы нас сопровождали. Предполагалось, что мы присоединимся к отряду «Сталинград». Но на пути оказавшись усиленно охраняемый гитлеровцами канал. Пришлось переменить маршрут, и мы попали в интернациональный партизанский отряд, где командиром был Жак.

Потом мы создали свой отряд, называли его «Родина». Командиром выбрали меня. Мы действовали на шоссе: подрывали автомобили, брали в плен фашистов.

В нашем отряде были еще две мои подруги. Мария Андриевская стала медсестрой. Ее частенько приглашали в соседние отряды, когда там нуждались в медицинской помощи. Кстати, она и теперь работает медсестрой в детской больнице в Минске. Моя самая близкая подруга по подполью Лариса Лукинич-

на Самчинская теперь учительница, преподает белорусский язык в Дзержинске, под Минском, в новой школе, которую я строила.

12 октября 1944 года мы вышли из леса в город Верден. Десять месяцев потом мы провели во Франции. Я подружилась с одной женщиной. Звали ее, если теперь не путаю, Лиз Бетхен. Ее мужа, коммуниста, фашисты казнили в Париже. Она любила встречаться с русскими. Она была старше всех. Когда война к концу уже шла, некоторые из наших поженились. Так вот она была как посаженная мать, что ли. Словом, как родная.

Так Надежда Иосифовна закончила свой рассказ.

Было уже поздно, и я собрался уходить. Взглянув на часы, Надежда Иосифовна забеспокоилась:

— Валерий, правда, сегодня на занятиях, но все равно ему пора уже быть дома.

Я знал, что Валерий — студент вечернего отделения института народного хозяйства. Но я знал также, что ему уже за двадцать и что на дворе теплая лунная ночь...

— Все это, конечно, так, — согласилась Надежда Иосифовна. — Но не волноваться материнскому сердцу не прикажешь. Все мы, отцы и матери, одинаковы, когда дело касается наших детей. Наверное, так же волнуются теперь и Жорж с женой, когда их дочка не очень спешит домой.

...Вот так мы и познакомились с Надеждой Иосифовной, тогда просто прорабом на минской стройке. И уже можно сказать, на моих глазах сын ее окончил институт и женился, а сама она стала и заслуженным строителем БССР и депутатом Минского горсовета. Жизнь идет своим чередом.

Рассказ о Надежде Иосифовне мне хочется закончить хотя бы беглым упоминанием о тех моих знакомствах, которые подтверждают, что необычная судьба Н. И. Лисовец все-таки не уникальна и что даже в одном Минске можно найти немало людей, у которых только с Францией военных лет связано очень много.

...Рыбачьих и охотничьих интересы сблизили меня с Георгием Тихоновичем Песнякевичем, юристом минской базы Белкоопсоюза. Показывал он мне однажды свой личный архив — и вдруг среди других бумаг попала стофранковая купюра с автографами.

— Откуда это, Георгий Тихонович?

— Из Франции.

— Когда вы там были?

— В войну...

И дальше я узнал, что под кличкой «Адам» Г. Т. Песнякевич был секретарем подпольной комсомольской группы в Минске, где мог и как мог отчаянно боролся с оккупантами. В конце 1943 года его арестовали и вывезли в город Азбрук (это под

Лиллем, во Франции). Голод и тиф. Высох до тридцати четырех килограммов. Обреченных больных, как мертвецов, свалили в кучу. Очнулся дней через восемь в монастыре. Подобрали французские монашенок, выходили в своем монастырском госпитале. Потом снова угодил в фашистский лагерь, но вскоре с учителем из Вологды и часовым мастером из Ленинграда бежал в Бельгию. По дороге, когда скрывался в подвале у одного француза, началась бомбежка. «Уходите,— предупредили,— в соседний дом упала бомба замедленного действия!» Г. Т. Песнякевич решил обезвредить бомбу. Партизанский опыт помог. Если бы бомба взорвалась, француз, приютивший беглецов, и его соседи лишились бы крова. На память об этом дне и получил Георгий Тихонович подарок — стофранковую купюру с автографами тех, чей дом он спас.

— А это? — спросил я Георгия Тихоновича, рассматривая сувенир французского монастыря святой Терезы.

— Это мне вручила выходившая меня шестидесятилетняя монахиня «мама Анес». «Бог спас тебя,— говорила она,— веруй в бога». Я, разумеется, остался атеистом, но вера в хороших людей у меня укрепилась. А это парижские фотографии: на одной — знакомый французский парень, на другой — группа заброшенных в Париж русских людей.

— Как зовут крайнюю слева?

— Катя.

— Очень похожа на Екатерину Яковлевну Целуйко, врача Первой клинической больницы в Минске.

— Она и есть.

Екатерина Яковлевна — врач-физиотерапевт. Я у нее лечился больше года. О многом переговорили, но ни слова не сказала она о своей нелегкой в прошлом жизни.

Впрочем, настоящее горе, как и подлинный героизм, всегда молчаливы. Много лет знал я стилиста белорусской газеты «Чырвоная змена» Майю Густавовну Стерн. И только недавно проведал, что в злополучном тридцать седьмом году сначала арестовали ее отца, заместителя редактора журнала «Большевик Белоруссии», потом мать. Майя собиралась поступить в институт, но пришла война, и гитлеровцы, рассчитывая на ее недовольство Советской властью, доверили ей работу в загсе. Но девушка возненавидела не Советскую власть, а врагов своей Родины и всячески помогала минским подпольщикам. И тоже угодила в фашистский застенок. Потом Германия и Франция. Майя была очень красива, и после войны от предложений выйти замуж и остаться жить во Франции не было отбоя. Но Майя вернулась в Минск, хотя никого из родных у нее не осталось. Она не могла не вернуться на Родину.

Однажды у Надежды Иосифовны Лисовец я повстречал Марселя Сози. Он парижанин. Но Надежда Иосифовна не виделась с ним на французской земле, потому что в годы войны, в то самое время, когда она была во Франции, он был на ее родине, в Белоруссии. Вместе с советскими патриотами боролся с фашизмом. Марсель Сози тоже инженер и тоже строитель. Инженерам-строителям из Минска и Парижа есть о чем поговорить, когда речь заходит и о нынешних днях и о будущем.

Вместе с бывшими партизанами, ныне работниками минского завода, Марсель Сози выезжал в леса под Борисов, где базировался их отряд, одним из руководителей которого был нынешний директор автозавода Иван Михайлович Демин.

— Все, что я увидел в Минске и Белоруссии, меня не только обрадовало, но и потрясло! Я преклоняюсь перед народом, который умеет любить свою Родину и с автоматом партизана и с кельмой строителя в руках,— сказал на партизанской сходке Марсель Сози.

А потом он показывал военные фотографии колхозникам и все искал Наташу — ту самую, которая привела его к партизанам и которую он чит, как свою спасительницу.

Марселю так и не удалось найти Наташу. Не удалось еще и Надежде Иосифовне Лисовец с Георгием Тихоновичем Песнякевичем разыскать многих своих французских друзей. Но хочется верить, что такие встречи еще впереди...

РАССКАЖИ МОИМ ДЕВОЧКАМ...

Передо мной истертые, пожелтевшие листочки писем. Им больше двадцати лет; уже в то время, когда писались эти письма, они были редкостной драгоценностью, бережно и тайно переправляемой через линии фронтов. Их отослал семье легендарный Константин Сергеевич Заслонов...

«...Музу обязательно определяй в школу. Предупреди, что если она пойдет в школу и будет учиться хорошо, я ей срочно перешлю прекрасный портфель с набором книг по ее вкусу, тетрадки, карандаши, альбом для рисования и коллекцию марок...» — это в первом письме, которое отправлено еще из Москвы.

«...Детей воспитай так, чтобы меня помнили и любили, потому что «бусинок» моих я очень люблю... Расскажи моим девочкам, пусть они знают, что их папа ушел громить фашистов...» — это уже из партизанского лагеря.

«...Хочется вас очень видеть, но будем живы — увидимся, погибну — значит, за Родину. Так и объясни ребятам...» — это из последнего письма.

Последнее письмо пришло тогда, когда семья Заслонова была в Алма-Ате и когда младшая из «бусинок», Ира, тяжело болела воспалением легких. Старшая, Муза, ходила во второй класс и после того, как прочла в «Правде», что папка ее награжден орденом Ленина, выступала на митинге с чтением таких наивных и вместе с тем таких впечатляющих стихов:

...Через рощи шумные
И поля зеленые
Вышел гадких фрицев бить
Папа мой родной...

В «Известиях» начали публиковать большой очерк «Сын Белоруссии». Начало в одном номере, продолжение в другом, а в третьем... подробности героической гибели партизанского комбрига.

Письма в войну ходили пешком, и газетный очерк опередил «похоронную»...

Каким запомнила отца восьмилетняя девочка?

— Бедности мы не знали, но жили, как говорят, от зарплаты до зарплаты. Чтобы сделать более или менее основательное приобретение, мама целый год собирала деньги и ехала за покупками в Минск. Как-то раз купила папе выходной костюм. Сам он по скромности своей необычайной был смущен этим подарком, зато мама сияла от радости.

Костюм решили обновить по случаю первого же торжественного собрания. Поздно-поздно вернулся отец домой. Костюм выпачкан, порван, местами совсем прогорел. Вконец смущенный отец обреченно выслушивал мамину нотацию, смешно прикладывал обгоревшие лохмотья, словно таким образом можно было поправить непоправимое, и все повторял:

— Когда так неловко крепят колосники, не устоишь.

Позже я узнала, что произошло в тот день.

Во время торжественного заседания папе сообщили, что паровоз требует срочного ремонта, который обычно делают, погасив топку. Если так, то срывался важный маршрут, и инженер поддерживал намерение машиниста сделать ремонт, не охлаждая паровоза. Дело это, разумеется, не обошлось без папиного участия, и в результате «шикарный костюм» приказал долго жить...

— Воспитывала меня в основном моя бабка. Мама увлекалась самодеятельностью, разными кружками и курсами, а папа целые дни проводил в депо. Редко бывал он дома и, помнится, если не возился с марками — он увлекался филателией, — то был опять же среди своих деповских людей. Стоило отцу появиться дома, как непременно кто-то приходил с чертежами и книгами и просил что-то растолковать, в чем-то помочь. Непонятные мне тогда, но, видимо, очень дорогие для отца разговоры о цилиндрах, распределителях и маховиках затягивались допоздна. Любил отец чертить какие-то яркие диаграммы, графики, делать стенгазеты...

Как сейчас, вижу заветные колбочки с блестками, которые стояли рядком перед ним и из которых он сыпал сверкающий порошок на покрытые клеем места, после чего ватманская бумага приобретала искрящийся, прямо-таки сказочно праздничный вид.

...Зимний вечер. Вьюга поет за окном свои песни. А в комнате тепло, уютно, тихо. Только тикают часы... Как радостно было смотреть тогда на добродушно-сосредоточенного, увлеченного папу, на эти расцветающие переливчатой радугой листы бумаги...

— Это было в день зарплаты. Мы, кажется, куда-то собирались поехать... И вдруг пожар! Мой мир тогда ограничивался заборчиком нашего участка, который был на краю станции у самого откоса, но и оттуда было видно зловещее зарево, потом черный дым. Сначала, кто с ведром, кто с лопатой, бежали туда озабоченные люди, а возвращались усталые, перепачканные, возбужденные. По их разговору стало понятно, что огонь удалось удержать, однако все жалели какого-то человека, дом которого сгорел начисто.

— Такой работающий, трезвый, такой хороший человек, и вот почему-то именно его бог наказал! — причитала моя богомольная бабушка.

Отец тоже пришел с пожара — лицо и руки в саже.

— А ты получку-то не потерял случайно? — спросила мама.

— Нет, отдал погорельцу.

— Всю?

— Всю.

— Взаимы?

— Навсегда.

Как-то я заметила на груди у папы рубцы шрамов. Из обыкновенного детского любопытства я спрашивала, откуда это. Никто мне тогда ничего не объяснил. Только много лет спустя узнала я невеселую эту историю.

Было это еще в Хабаровском крае, на станции Вяземский.

Отца туда направили, как говорят, «на укрепление». Это совсем рядом с границей, и завелись там любители «левых» доходов. С приездом папы воры и контрабандисты почувствовали себя плохо. И вот однажды они решили расплатиться с новым инженером. Как уж там случилось, в деталях не знаю, но ночью, когда отец шел домой, его повстречала группа негодяев и «свела счеты». Домой отца привели забинтованного. Папе, можно сказать, дважды повезло. Во-первых, во внутренних карманах пиджака у него лежали какие-то бумаги и чертежи, которые смягчили удары ножа. А во-вторых, соседи-рабочие, которые пришли домой несколько раньше, обеспокоились его задержкой и, вернувшись, нашли папу под откосом.

— Вообще, если призадуматься, нелегко складывалась жизнь отца. Помимо многих «неприятностей», которые порождались его чрезвычайной непримиримостью к несправедливости и беспринципности, еще одно очень угнетало папу: его не принимали в партию. Дело в том, что папины родители в свое время были оговорены и высланы, а отсюда и последствия...

— На всю жизнь запомнила я один на редкость погожий весенний день. Я пришла утром к папе, а он, празднично возбужденный, довольный, вскинул меня на руки и закружил по комнате. Потом сам вынул мои лучшие наряды, одел меня и, посадив себе на плечи, понес на демонстрацию.

Наверное, это было Первое мая. Потому что до сих пор очень хорошо видятся мне чуть клюнувшие зеленую почки, ликующие лица, слышатся песни, смех, пляски, музыка... Этим жил папа, это его мир!

Вот так, картинку за картинкой, рассказывала мне Муза Константиновна о своем отце. Мы сидели в ее новой квартире, окна которой выходят на Ленинский проспект, центральную магистраль Минска. Муза Константиновна бережно складывала драгоценные письма отца. Я присматривался к ней. Худенькая, светловолосая. А как жилось ей, какой путь выбрала себе дочь Заслонова?

Муза окончила университет, но вскоре поняла, что здоровье не позволит ей заниматься мытарным журналистским трудом. Пошла работать в один из академических институтов. Там она познакомилась с белорусским киноархивом, почувствовала, что ее призвание — кино, и снова оказалась на студенческой скамейке, во ВГИКе.

Первый фильм начинающего кинорежиссера-документалиста

снимался в Сибири и был посвящен строителям линии электропередач. Второй, «Улица машинистов», вернул Музу Константиновну на родную белорусскую землю, в Оршу, в паровозное депо, которое носит имя ее отца.

Рано еще говорить об успехах — все впереди. Однако три слова из отцовского письма: «расскажи моим девочкам...» — Муза Константиновна воспринимает как завет. Эти слова и определяют ее будущее, ее мечту: сделать хороший документальный фильм об отце.

РАДОСТЬ ДАЮЩЕГО

Листая пухлые тома следственного дела группы валютчиков, вникая в образ мыслей и жизни этих людей, жизни мерзкой и алчной, мне бросилось в глаза то, что, несмотря на миллионы, которыми они ворочали, и на те житейские блага, какими пресыщались, они оставались убогими и нищими, по существу, глубоко несчастными уродами.

— Это всегда так, — согласился со мной старый следователь. — Люди, которые только тем и заняты, что рвут от жизни все, что могут, — всегда жалкие люди. Им неведома главная человеческая радость — радость дающего.

Может быть, слова старого следователя не приобрели бы в моем сознании той значимости, какую они имеют теперь, когда я узнал о Стефаниде Адольфовне...

* * *

— Елизавета Устиновна Беганская?

— Да, я. Проходите, пожалуйста, — пригласила меня молодая женщина с доброй, приветливой улыбкой, и я оказался в новой — еще пахло краской — квартире, где на всем лежала печать ревливой заботы о чистоте и уюте.

И пока Елизавета Устиновна, как водится, помедлила в соседней комнате, чтобы, сбросив передник, поправить прическу, я подумал: «Неужели она и есть та scandalная Лизка, какая, как мне говорили, готова перегрызть горло любому встречному?»

— Да, это обо мне вам и рассказывали. И, признаться, ничего не прибавили: ожесточилась я тогда на людей.

— Как же все это?

— Плохо тогда обошлись со мной, вот и ослепла я от горя и злости... А с человеком надо по-людски...

Вспомнив свое недавнее прошлое, моя собеседница вдруг потускнела, улыбочливое лицо застыло в непроницаемой маске.

— С Женей — муж мой, Евгений Савельевич, работает слесарем в механическом цехе — мы познакомились в школе сельских механизаторов. Всегда он тихий, спокойный, а я огневая, вот и думали тогда, что в семье у нас будет все в равновесии. Как говорится, один с огнем, другой с ведром. Так оно и было. Жили ладно. Скоро пошли детишки. Сначала мальчики — Вовка, потом Саша.

А когда Женю забрали в армию, семейное равновесие наше нарушилось. С родными — я осталась было у его кровных — мы быстро разладили, и я переехала от них сюда, в Жодино, на автозавод. На заводе с работой устроилась быстро, а вот с яслями совсем худо, ихватила я лиха. Решилась написать командиру части, где служил Женя, в какую я попала заваруху. Написала просто так, чтоб душу отвести. А недели через две приезжает мой Женя и объявляет, что отпустили досрочно.

Вот, подумала я тогда, есть же на земле добрые люди, и мы стали устраивать свои семейные дела. Его сразу взяли на работу. Человек он старательный. Покой и достаток снова вернулись к нам, хоть и снимали комнату у собственника.

На радостях и забеременела третьим. Хозяевам это не понравилось, и они потихоньку начали нас выживать. Сами, небось, знаете, как это делается, если жилали на частной: то вздохнут, что электричества, мол, много нагорело, то уйдут и оставят кричащее радио на всю ночь, а то пошло совсем нестерпимое: начались жалобы соседям, будто пух из подушек стала я у них выбирать. Разве такое перенесешь? Перебрались на другую частную квартиру. Новые хозяева — все они, собственники, на одну мерку — оказались еще похлестче.

Будь мой Женя потверже да похарактерней, может, и обошлось бы. А он только и делает, что меня уговаривает: ты, мол, Лиза, потерпи, на очередь стал, должны же и мы получить квартиру. Это мне, а хозяевам-то ни слова. Ну, а те, понятное дело, совсем распустились: знали, что завод растет не по дням, а по часам, квартир и другим, что поважнее нас, не хватало, ну и показали свою собственническую натуру во всей красе. Словом, тоже нас выжили.

Дело шло к зиме, перебрались мы к старику Ясинскому, у которого свой домик на Московской. Только он в домик-то нас не пустил, а во времянку из досок, где и июльской ночью спить под двумя одеялами. А у нас тогда Людмила родилась. Женя все свободное время тратил на то, что щели забивал. Завернула зима, и настало такое, что словами и не выскажешь. Не за себя — ведь трое малых на руках — я прямо-таки загрыз-

ла Женю. Знаю, что ничего поделать он не может, однако доставалось ему от меня и днем и ночью... Тогда я и решилась самовластно занять квартиру в новом, еще не достроенном доме.

Боже мой! Что тут поднялось! Приехал прокурор — скандал! Потом другой законник — новый скандал. И так десять раз на день. Женя мой совсем доходил: на работе совестно перед товарищами, а после смены тоже не знал, куда себя деть.

Вызвали нас на завком. Там я проведала, что одна учительница получает трехкомнатную квартиру. Попросила эту, простите, интеллигентку на время пустить нас хоть в одну из комнат. Учительница ни в какую. Ну, думаю, раз ты так поступаешь, то и я ни за что не уйду. Ну и задала я тогда тот концерт, о каком вам рассказывали. Если только по закону, так меня можно было хоть в тюрьму за мои фокусы. Я уж, по совести сказать, так решила, что пропала моя головушка. Но тут...

Тут взяла слово Стефанида Адольфовна Казырнович.

— Сын у меня еще в армии, — сказала она. — Живу я одна. Пусть Беганские поселятся в моей комнате, а я пока пойду на частную.

«Ну, — думаю, — и дуреха же нашлась!»

— Кто она, — спрашиваю, — эта Адольфовна?

— Работница гальванического отделения, — говорят, — член завкома.

От радости я совсем спятила, даже спасибо ей не сказала.

В тот же день мы переехали в комнату Адольфовны, а она отправилась в деревню за пять километров к своим знакомым Козловским, у которых жила прежде. Собрала свои вещички и прямо без предупреждения приехала к ним. Хозяев тогда дома не оказалось, Виктор Владимирович был на работе, он шофер-испытатель, а Анна Ивановна с дочкой в магазин ушла. Стефаниду Адольфовну это не смутило. Подвинула она заветный камешек, взяла из-под него ключ и вошла в дом. Вот в каком доверии живут люди.

Однако даром стеснять друзей Адольфовна не хотела. Платила 10 рублей в месяц. А мы за ее комнату только 1 рубль 80 копеек. От нас же она ни копейки брать не хотела.

— Вы, — говорит, — молодые. У вас дети. Вам грóши важнее.

А когда все улеглось и утихло, когда присмотрелась я как следует к Стефаниде Адольфоне, то уразумела, что сама я была дура душой, а она самый что ни на есть настоящий человек.

Людей слабых и недалеких горе ожесточает или прибавляет. Люди сильные и благородные, пройдя через чистилище бед, становятся еще добрее, тоньше и человечнее.

— Как вы сами-то объясняете свой поступок? — спросил я Стефаниду Адольфовну.

Она улыбнулась, и почему-то мне сразу представилось, что в молодости она была редкой красавицей, что в юные годы ей, наверно, прочили легкую судьбу и что она из тех деревенских женщин, что умеют жить просто и разумно, но объяснять свои поступки и тем более раздумывать над ними не привыкли.

— Да никак я не объясняю, — ответила она. — Просто они молодые. Вся жизнь у них впереди... И потом у них дети.

— Хорошо, — не отступал я. — Но ведь учительница-то получила трехкомнатную квартиру и не согласилась уступить комнату Беганским даже на время...

— Вот и не хотелось, чтобы молодежь думала, будто все такие, как та учительница.

— А почему учительница такая?

— Да, видно, легко ей жилось и живется. Похоже, не ведала она своего горя, не понять ей и чужого...

К самой Стефаниде Адольфовне судьба была не очень-то благосклонна.

До войны ее семья жила в Бобруйске. Когда пришли гитлеровцы, Карл Осипович не хотел работать на оккупантов, и при первом же удобном случае все семейство перебралось в деревню, в Дзержинский район, туда, где жили они прежде. Крестьяне приняли Казырновичей, как родных. Скоро Карл Осипович, он был отменный сапожник, связался с партизанами. Помогал им, как мог: и сброу ладил, и обувь, и всякое другое...

Выдал его предатель Матусевич. Выслужиться захотел полицаи, сообщил гитлеровцам, что Карл Осипович связан с партизанами. Никаких доказательств Матусевич представить не мог, но Казырнович тут же получил повестку из немецкой комендатуры — забрали строить мосты. Карл Осипович сбежал. Пришлось и семье спешно уходить в лес, в партизанский лагерь.

Потом обстановка в районе сложилась в пользу партизан, и многодетные семьи стали возвращаться в деревни. Казырновичи на этот раз поселились в Ковальцах. Карл Осипович срубил себе дом. Вроде бы опять зажили, как люди.

Однако 22 мая 1944 года, перед самым освобождением, кто-то снова донес на Казырновичей. Среди бела дня гитлеровцы и полицаи окружили дом и изрешетили его автоматными очередями. Все ждали, что Казырновичи будут выбегать из дома — обстреливали минут двадцать. Старший сын и дочь Стефаниды Адольфовны еще с утра убежали с деревенскими ребятами в лес. Остальные спрятались за печь и притихли. Даже трехлетний Володя не плакал. Решив, что живых не осталось, каратели перестали стрелять и, чтобы не оставлять следов преступле-

ния, как всегда, подожгли дом. Когда занялся огонь и изба наполнилась едким дымом, беременная Стефанида Адольфовна выбила окно с наветренной стороны и убежала в лес. Карл Осипович с Володей на руках, как она заметила, кинулся в дверь...

...А потом, когда каратели убрались, Стефанида Адольфовна вместе с соседями стала собирать своих. Сыну-то с дочкой по-счастливилось: они оказались на другом конце деревни, а Карл Осипович с трехлетним Володей не находились до самого вечера. И только, когда начали разбирать пепелище, отыскивали их обгоревшие тела. На кладбище появился свежий холмик.

Четыре месяца спустя Стефанида Адольфовна до срока разрешилась двойней. Девочка не протянула и двух месяцев, а за ней и мальчик...

Вот сколько горя выпало на долю одного человека.

Казалось бы, все ясно. Но тут пустил кто-то слухок, будто не доброта человеческая, а расчет и хитрая корысть руководили Стефанидой Адольфовной, когда она уступила свою комнату Беганским: ведь теперь и ее завод поселил в новую квартиру. Услышал и я об этом. Не то чтобы поверил, но стало как-то не по себе. Вскоре случай (это правда, что и случай — закономерность) окончательно рассеял все сомнения.

Поджидая автобус, я, чтобы скоротать время, зашел в заводской Дворец культуры и в читальном зале разговорился с молодой библиотекаршей Таней Кичеровой.

— А не знаете ли вы Стефаниду Адольфовну Казырнович? — спросил я девушку.

— Ее здесь все знают.

— В библиотеку часто ходит?

— Очень часто.

— А какие книги берет?

— Да самые разные. Но больше всего о войне.

— Оно и понятно...

— Нет, не понятно. Другие прочтут, и все. А она целые ночи будет говорить потом о прочитанном.

— А откуда вам это известно?

— Так я живу у нее. Она часто приходила сюда менять книги. Узнала, что в общежитии места мне еще не подыскивали, и предложила поселиться у нее. «Вместе веселей, — говорит. — Скучно одной мне в целой квартире». Вначале я стеснялась, а потом увидела, что и впрямь ей со мной лучше, и переехала. Договорились, что буду жить до возвращения сына из армии. А теперь, когда Евгений вернулся, поступил на тракторный завод и стал жить у сестры в Минске, теперь она меня не отпускает. «Теперь, — шутит, — живи уж до свадьбы!». Эх, какая это заме-

чательная женщина! Мне с нею так хорошо, как с матерью. Она настоящий человек! Возможно, слышали историю с Лизой Беганской?..

— Слышал. А вы, Таня, действительно не знаете, почему Стефаниду Адольфовну так волнуют книги о войне?

— Нет.

Из Жодино я вернулся с легким сердцем. Жизнь наградила меня еще одним знакомством, подтвердившим, что хороших людей на белом свете всегда больше того, чем мы знаем и чем нам порой кажется.

НОЖ В РУКЕ ЧЕЛОВЕКА

Большой трудовой день окончен: и лекция, и заседание кафедры, и ученый совет. Профессор уже закрывал дверь своего кабинета, когда раздался междугородный телефонный звонок:

— Тимофей Еремеевич, дорогой, это из гомельской больницы! К нам поступил молодой рабочий с тяжелой травмой левой руки: повреждены кости, разорваны ткани, сосуды и нервы. Речь идет об ампутации, только вы можете сохранить парную руку. Самолет с больным, если вы согласны, через двадцать минут будет в воздухе.

— Везите.

Тимофей Еремеевич распорядился подготовить операционную и нелегкими шагами — уже седьмой десяток — вернулся к письменному столу. Хотел было приняться за чтение объемистой диссертации своего подшефного, но, вспомнив что-то, ласково улыбнулся и, пододвинув белый аппарат телефона, стал крутить диск сильным пальцем своей работающей руки, руки хлебороба.

— Леночка, я немного задержусь... — начал он.

Леночка была неумолима, она еще раз напомнила о том, что молодость давно позади, что суп придется разогревать в четвертый раз и что если он не думает о себе, то должен понять наконец, что она тоже человек и у нее тоже есть сердце...

Тимофей Еремеевич улыбнулся, а в трубку было брошено решительно, почти сердито:

— Мне некогда. Буду часа через два... с половиной.

Наверно, давно утвердилось это супружеское «недопонимание». Но сколько истинного родства заключено порой в этом кажущемся несоответствии характеров!

Улыбка еще долго не сходила с лица профессора, до тех пор, пока мысли не ушли в самое существо диссертации.

В исследовании его ученика говорилось об изготовлении,

хранении и применении своеобразных запчастей человека. Когда-то это казалось фантазией. Сегодня это реальность. Завтра станет будничным.

Завтра не только артерии, кости, хрящи и железы, но и жизненно важные органы будут заменяться и восстанавливаться. Давнишняя мечта о том, чтобы при хирургическом лечении не только усекались больные или травмированные ткани и органы, не только латались остатки, а чтобы выбывшая из строя часть человеческого организма заменялась другой, естественной или искусственной, чтобы нож в руке хирурга не только удалял, но и прибавлял, — давнишняя эта мечта начинала осуществляться.

Отрадно, конечно, быть в когорте рыцарей нового. Однако как нелегко все это далось!

...Станичный заводила Тимошка был любимцем сверстников. Даже отпрыски состоятельных фамилий искали его общества. И вот богатые дружки пригласили Тимошу на рождественскую елку в один из именитых домов. Все было хорошо: и игрушки, и сладости, и хоровод вокруг красавицы елки. Потом пришли взрослые. Какая-то кружевная дама заметила ситцевого Тимошу, презрительно поднесла платочек к своему сморщенному носику, и к хлопчику направился отец барчука.

— Как ты сюда попал? — Костлявая рука сжала хрупкое ребячье плечико, направила к двери. — В нашем кругу тебе делать нечего!

У боли есть и своя положительная сторона. Возможно, не выстави его тогда богачей с елки, не будь этой жгучей обиды, не было бы такой напористости, непримиримости в борьбе, какая сделала ситцевого хлопчика профессором, доктором, заведующим кафедрой, заслуженным деятелем науки.

Слабая душа при неудаче гаснет, сильный характер от сопротивления только закаляется и мужает. Вспоминается другой случай. Модная хирургическая особа коснулась своими музыкальными, тонкими пальцами мясистой и сильной, крестьянской кисти студента Гнилорыбова и изрекла:

— С такой медвежьей лапой легко у наковальни, а не у операционного стола...

Эх, сколько всякого пришлось и выслушать и перестрадать! Однако главное в другом: дело, которое ты выбрал, оказалось твоим делом, и в том, что русская, советская хирургическая школа была и остается самой авторитетной и передовой, есть и твоя заслуга.

...В гулко профессорском кабинете тиканье часов особенно заметно. Тик-так, тик-так. Секунда, еще секунда, минута, еще минута... А то, что прошло, никогда никакими силами не вер-

нешь, не воротишь. «Почему не зовут в операционную?» Тимофеем Еремеевич нажимает кнопку звонка.

— Самолет уже над Минском,— не дожидаясь вопроса, объясняет медсестра Мария Борисовна,— но из-за тумана летчику не разрешают посадку. Такая, говорят, инструкция.

— А ты им скажи...

Впрочем, кому она скажет? Кто ее послушает? На поле боя она была всех важнее и нужнее на свете. Там ей подчинялись беспрекословно. И никто не вправе заставить летчика рисковать своей жизнью, рисковать самолетом. Да, на риск надо иметь право. А дают это право лишь отчаянные обстоятельства да человеческая совесть.

Вспомнился профессору кошмар кисловодской трагедии 1942 года. Переполненные санитарные поезда и госпитали без воды, без пищи и медикаментов. Вспомнил, как настоящие патриоты, спасая раненых коммунистов и офицеров, разбирали их по домам и выдавали за родственников, как, находясь на волоске от смерти, советские люди под носом у гитлеровцев организовывали подпольные лазареты и операционные, добывали пищу и бинты, одежду и лекарства, как врачи почти без инструмента, чуть ли не под открытым небом делали сотни сложнейших операций. 209 таких операций на счету и у Тимофея Еремеевича. Вспомнились верные помощники Мария Митрофановна Елизарова, Татьяна Степановна Дещук, Елена Митрофановна Крылова...

Теперь все это давно позади, прошло. Однако было! И не рисковать в то время было нельзя.

— Тимофей Еремеевич, пожалуйста в операционную: вам пора готовиться. Летчик только что посадил самолет!— ворвалась в кабинет сестра.

— Как же ты это устроила?

— Да никак. Обыкновенно, по-бабьи, ругалась с диспетчером, а летчику, похоже, надоело слушать этот базар— у них, знаете, селектор, и по радио все слышно,— вот он на свой страх и риск и посадил машину на соседнее с аэродромом поле.

— Обязательно узнай фамилию летчика. Я хочу с ним познакомиться.

— Уже узнала. Жарин.

...Операция как операция. Сколько таких было, сколько будет!

Здорово покорежило парню руку. Но аккуратные пальцы скульптора-хирурга терпеливо поправляют кость, проверяют нити нервов, сшивают мышцы, сращивают кровеносные сосуды. Вот крупный сосуд непоправимо поврежден на большом участ-

ке. Значит, надо его удалить, а на его место вшить новый — заблаговременно запасенный впрок.

Операция как операция. Много таких было, много впереди. И не только таких.

Во фронтовых госпиталях, до них и после Тимофею Еремeeвичу привелось делать тысячи и тысячи операций по самым разным поводам. Оперировал и сердце, и легкие, и желудок — всякое случалось. Но с годами Тимофей Еремеевич сосредоточил свое внимание на хирургии кровеносных сосудов, на пересадке желез внутренней секреции, на пластических операциях. В каждой из этих областей — у профессора свыше ста восьмидесяти научных работ — Т. Е. Гнилорыбов — автор той или иной уникальной операции, того или иного метода.

Разбираться в ювелирных тонкостях хирургической техники — дело специалиста. Но обширная почта Тимофея Еремеевича, корреспонденты которого так же, как и рядовой читатель, не очень-то сильны в медицине, — это десятки и десятки взволнованных рассказов о счастье, которое подарил людям этот человек.

Без малого тридцать лет страдал стенокардией старый коммунист Смирнов. Дежурный врач поликлиники сделался ежедневным посетителем его квартиры. И вот теперь, после операции, он пишет, что боли в области сердца не чувствует, что выходит на улицу без опасения оказаться в карете «Скорой помощи» и что свободно поднимается на верхние этажи.

Разработанные Тимофеем Еремеевичем пересадки желез внутренней секреции вернули в строй многие сотни людей. При пересадке мозгового придатка (гипофиза) карлики вырастают на драгоценные 5—10—15 сантиметров, а иногда на тридцать и более. Пересадка надпочечника уменьшает страдание больных аддисоновой болезнью. Очень эффективной при ряде заболеваний оказалась и пересадка костного мозга по методу Гнилорыбова. Успешно применяется им также пересадка консервированных половых желез. И, наконец, прямо-таки волшебные результаты дают пластические операции.

Рядом с большим, неутешным горем люди, которые недовольны тем, что они слишком курносы, или что уши у них слишком торчатся, или живот обвис, — люди эти кажутся капризными привередниками. Однако, бывает, и это причиняет немало переживаний, и тогда хирургия поправляет небрежности природы.

Письма, письма, письма... Разные адреса и почерки, разные судьбы и характеры, разные несчастья и недуги, но одинаково волнующа радость исцеления.

Вот что делает нож в руке талантливого человека!

...Елена Ивановна, по обыкновению, добро ворчала на своего

непослушного мужа, который так-таки, наверное, никогда и «не поймет», что она тоже человек и что у нее тоже есть сердце. Суп и в самом деле перекипел до того, что бульон загустел и порозовел, жаркое подсохло и только рыбец с родного Дона — такой же, как четыре часа назад, как год назад, как в далекой-далекой юности. То, что она ворчит, — это так. Такая уж ее доля. Это по привычке.

В середине ночи Тимофей Еремеевич просыпается и, не включая света, тихонько, чтобы не тревожить Елену Ивановну, на цыпочках идет в кабинет. Но она все слышит. Слышит, как скрипнул замок тяжелого профессорского портфеля, как зашуршали страницы рукописи очередной монографии. Слышит, но молчит, она знает: ничего из давно заведенного не изменить.

На другой день Тимофей Еремеевич навестил гомельского паренька Виктора Приходько.

— Небось, еще и жениться не успел? — перебил поток благодарственных слов Тимофей Еремеевич.

— Еще не успел...

— Дело нехитрое. Все еще у тебя впереди, и все будет. И работа останется за тобой, и девушку свою крепко обнимешь.

КОЛЬКА ИВАНОВИЧ

Все, что вы узнаете из этого повествования, к сожалению, не выдумка. Все так и было. Не ищите, однако, живые прообразы героев этой невыдуманной истории — соль не в этом...

Коля

Уж десять лет, как я знаком с Колей...

Помнится, чудным летним вечером с Василием, моим старым товарищем, тоже журналистом, шли мы со стадиона.

Вдруг на перекрестке моего товарища кто-то лихо хлопнул по плечу:

— Василь! Неужто ты?!

Василий обернулся и застыл, разглядывая стройного, светловолосого, чем-то напоминавшего Есенина, парня:

— Мико-о-ла!

Тут я и познакомился с Колей.

Из обычного после долгой разлуки, внешне бессвязного разговора я понял, что это тот самый Коля, о котором Василий частенько рассказывал мне. Это тот самый бедовый хлопчик из

маленькой могилевской деревни Чапары, отец которого, сельский учитель, заразил всю окрестную детвору любовью к книге. Тот Коля, что остался сиротой, тот закадычный друг, с которым Василь ходил в ночное, в этот райский, чудотворный мир селянской детворы, с которым вместе топал темными выжженными утрами в семилетку райцентра, кому поверял свои юношеские стихи и сердечные тайны.

Потом, после семилетки, жизненные тропинки друзей-односельчан разбежались в разные стороны. Коля учился в Московском институте стали. Студентом женился на своей землячке — Ирине, первой красавице в Чапарах...

Эх, молодость! Славная пора! Утро и день на лекциях и в лабораториях, затем встречались в библиотеке и шли в музеи, на выставки, в кино. На свои галерочные билеты впитывали светлого и доброго нисколько не меньше, чем на те, что позволяли сидеть в бархате партера.

Диплом инженера Микола получил, уже будучи отцом.

Потом война. Миколу направили в тыл. Дни и ночи проводил он в цехе машиностроительного завода, поставлявшего фронту боевую технику.

После войны — Минск. Кое-как устроились с жильем. Микола стал во главе проектной мастерской. На листах ватмана скоро закрасовались проспекты и площади, а в разрушенной белорусской столице, бывало, десяти шагов не пройдешь, не споткнувшись о вывороченные рельсы или не оступившись в яму. Это неважно, что инженер-металлург руководил архитекторами и проектировщиками. Важно, чтобы во главе очень нужного дела стоял человек с даром и энергией организатора.

Потом Миколу пригласили на работу в аппарат одного из министерств. Должность уважаемая. Но на уважаемой должности Микола лишился самостоятельности, творческого простора, той беспокойной жизни, которая не давала дремать и требовала постоянной деятельности, измерявшейся и ценившейся конкретными, ощутимыми результатами.

И вот встретились друзья детства.

Разговаривая с Миколой, Василий время от времени поглядывал на меня, как бы говоря: «Вот это парень! Видишь!» Любуясь своим атлетически сложенным другом детства, Василий нескрываемо гордился им.

Эта очарованность Василия каким-то образом передалась и мне. Во всяком случае, когда Микола, распрощавшись, пошел к ночному бдению в своей канцелярской должности (тогда, помните, шиком считалось до рассвета скучать в своих кабине-

тах в ожидании звонка вышестоящего), я, всматриваясь в его стройную фигуру, увлекаемую людским потоком улицы, тоже почувствовал симпатию к своему новому знакомому.

В первое же воскресенье мы все трое встретились и потом редкие выходные и праздничные дни проводили врозь. Здоровье Василия, он страдал хроническим нефритом, заметно сдавало, и большей частью мы выезжали куда-нибудь в лес или к реке, с утра до ночи были на вольном воздухе.

С течением времени компания то расширялась, то узилась, но наша троица неизменно оставалась ее сердцевиной, а Коля — душой всех затей. Он лихо играл на аккордеоне, хорошо пел и всякий раз легко зажигался огнем юности и столь же легко предавал этот огонь окружающим.

Каждый раз мы старались поехать в новое место — то туда, где черемуха, то в орешник, то, чтобы вдоволь надышаться теплым, пьянящим ароматом медовой гречихи.

Случалось попадать на сельскую вечеринку, и тогда Коля, словно сбросив лишний десяток лет или два, разворачивался всюю. Редко находились такие, кто горазд был его переплясать, победить в частушечном турнире, переиграть на гармонике.

— Откуда ты, дядька, такой веселый? — бывало, спрашивали девушки, подчеркнуто внимательные к Коле, в упрек своим юным ухажерам.

— У нас на Могилевщине, красуни, все такие! — лукаво подмигивал Микола и растягивал мехи аккордеона.

Девчата обычно просили Колю поиграть еще хоть полчаса, но он отбивался от просьб, показывал на Ирину:

— Ой, девки, не доводите до греха. У меня, чай, женка есть.

И все понимали, что из-за этой самой женки он и красивый такой.

Нравился мне Коля и своим целомудренным отношением к женщинам. В их присутствии он как бы расцветал и искрился. А женщины в его обществе становились красивее и естественней и очень быстро переходили с ним на «ты». Но эта простота отношений всегда была чистой, без этих, знаете ли, масленных глаз и донжуанства.

Особенно приятно было смотреть на него, когда рядом была Ирина. Вроде бы ничем не выделял он ее среди других, никогда не выказывал своей особой заботы, не то что нежности, но по каким-то неуловимым приметам все чувствовали его тонкое внимание и привязанность к Ирине.

«Услышь меня, хорошая» была его любимой песней, и мы часто пели ее. Один куплет он пел, как бы только Ирине:

Еще косою острою
В лугах трава не скошена,
Еще не вся черемуха
К тебе в окошко брошена.

Тут сердце Василия не выдерживало, и, обнимая друга, он неистово подхватывал своим неровным голоском:

Еще не скоро молодость
Да с нами распрощается.
Люби, куда любитися,
Встречай, пока встречается.

Хорош был Коля и своей открытой душой человека, которому нечего скрывать и нечего стыдиться, откровенностью и прямою суждений, умением без всякой обиды воспринимать высмеивание его промахов и недостатков.

Как-то подтрунивали мы над «ответственной» должностью своего друга. Мы хорошо знали способности Миколы, его умение работать самозабвенно и знали вместе с тем, что, захваченный круговоротом бумажной бюрократии, которая была тогда в его ведомстве, он много времени проводил в пустопорожней переписке и еще больше в ненужных совещаниях и заседаниях.

— Ну, братцы, приперли вы меня! — почесывая затылок, признался Микола. На секунду задумался и, резанув рукой по воздуху, выпалил:

— Завтра же подаю заявление с просьбой об увольнении. Пошла она к черту, эта канцелярия! Подамся, братцы, в науку! У меня в башке еще с института одна дельная штука застряла!

Мы решили, что он шутит, и, будто в лад его решительному тону, Василь намекнул на высокие академические оклады:

— Стоит только заделаться действительным членом, сразу становишься как бы принцем крови. Работаешь не работаешь, а каждый месяц, и притом пожизненно, получаешь толстую пачку сереньких.

Коля, казалось, отнесся к шутке как к шутке, и некоторое время мы молча шли по берегу извилистой Вячи.

— А насчет денег так, — сказал Микола. — Если буду получать больше трех тысяч, то все остальное попрошу переводить на нужды нашей Чапарской школы, где учительствовал отец. «Плохо без денег, — говаривал батя, — а лишние деньги и того хуже. Вот, скажем, стекло в окне. От ветра, дождя и холода защищает. И все видно. Худо без стекла. Но стоит сдуру посе-ребрить его на ломаный четвертак, как это же самое стекло, превратившись в зеркало, отгородит тебя от всего белого света, и ты будешь любоваться лишь собственной физиономией».

— Будет болтать-то, фантазер! — оборвал Василий Колю. — Ты еще займешь эти лишние-то.

— Честное слово, откажусь! А если не откажусь — значит, дурной вышел сын у моего батьки.

Николай

Шутки шутками, а недели через три Николай и в самом деле ушел со своей уважаемой должности в аспирантуру. И жизнь его, как некогда в студенчестве, опять обрела духовное богатство и содержательность. Но раньше, в Москве, все было куда легче: молодость! Теперь же, когда зажили семейно, когда Ольга почти невеста, в восьмой класс перешла, на аспирантскую стипендию далеко не ускочишь, и каждая копейка в доме сразу стала дороже и значимей.

Вот тут-то и проявился Иринин прямо-таки виртуозный талант домашней хозяйки. Правда, снова помогали ее родители, снова шли посылки из деревни. Даже картошку с овощами привозила Иринина мать каждую осень. Но вместе со всем этим сколько нужно было проявить Ирине хозяйской заботы, сметки и расчета! Ей было важно только то, чтобы муж и дочь не замечали того материального напряжения, в котором они жили.

Домашняя хозяйка! Есть такая массовая «профессия» на земле. О передовиках и новаторах этого дела в газетах не пишут, портретов не печатают. А как важна эта «специальность» для наших семей и, стало быть, для всех. И как все еще мало, если положить руку на сердце, ценим мы эту не ограниченную ни нормами, ни временем, не знающую предела совершенства деятельность, которой ни на курсах, ни в техникумах и институтах не научишься, потому что существо этой деятельности составляет любовь к своим близким, к своей семье, к своему дому.

Да, домашняя хозяйка не только стряпуха и уборщица, не только лекарь и нянька, воспитательница и судья, не только создательница бытового уюта — она как бы художественный руководитель всей семейной жизни. И как больно, что в беспроектной суете своих великих, но незаметных, таких будничных и привычных дел сами домашние хозяйки, наши жены и матери, очень часто забывают о себе и в своем подвижничестве приносят лучшие желания и побуждения, а порой и себя целиком в жертву семейному покою и благополучию.

Такой вот добровольной жертвенницей во имя семейного очага стала Ирина. Все были от нее в восторге, и сама она считала себя счастливейшей женщиной, женой и матерью.

Вот так шли годы аспирантства. Много из нажитого ушло на «барахолку». На скатертях и белье появилась еле приметная штопка, уже второй год Ирина все праздники появлялась в одном и том же «любимом» коричневом платье и тех же «ужасно прочных» туфлях. Ирина заметно похудела — это, по ее словам, делало ее моложе.

Наконец пришел долгожданный день. Диссертацию свою, посвященную совершенствованию высокочастотной закалки стальных деталей, Николай защитил.

На традиционном по этому поводу ужине новый кандидат поцеловал при всех своего главного научного руководителя, консультанта, машинистку, вдохновителя и соавтора — Ирину, которая подвыпившими научными жрецами тут же была удостоена звания «доктора семейного счастья».

Сделавшись кандидатом, Николай стал заместителем директора по научной части одного из академических институтов. Должность такая была, а института еще не существовало. Его нужно было создавать, и Николай весь отдался этому делу. Хлопотал об оборудовании, ездил в Москву и Ленинград «пробивать» всякого рода пробки — работал с упоением.

С переходом в академию в жизни Николая открылась светлая полоса всяческих приятных событий. Он начал читать вузовский курс и быстро оказался любимым лектором. Ему дали новую просторную квартиру. Поступление Ольги в университет было отмечено приобретением пианино. В дом пришел достаток, и пополневшая, действительно помолодевшая Ирина наконец рассталась с осточертевшим ей «любимым» коричневым платьем, а «необычайно прочные туфли» были выброшены в мусоропровод.

Попав в новый «академический» круговорот событий и интересов, Николай реже стал участвовать в наших вылазках за город, хотя у него появилась собственная «Волга». Эту перемену в Николае сначала мы объясняли увлеченностью новым делом, но потом, когда институт уже родился и когда при встречах Николай все меньше и меньше говорил о высокочастотной закалке и все больше и больше о том, как построить гараж во дворе или купить модные нейлоновые рубашки, Василий с внутренней болью стал потихоньку ворчать на своего друга детства.

— Что ж ты не отказываешься от тех тысяч, что перевалили за третью? — полушутя-полусерьезно спросил однажды Василий. — Я на той неделе был в Чапарах: школе быгодились.

— Черт бы их побрал, эти деньги! — со смехом возмущался Николай. — В аспирантуре получал восемьсот — хватало. Теперь — пять с половиной тысяч и, представь себе, сижу в долгах.

— А помнишь, что тебе отец говорил о стекле и зеркале?

Николай криво глянул на Василия.

— Мало ли что бухнешь, не подумав! Ты так близко принимаешь это к сердцу, Василь, словно сие касается тебя лично!

Василий смолчал. Николай же, будто оправдываясь, украдкой шепнул мне:

— Завидует старикашка!

В тот раз обошлось без ссоры. Но холодок в отношениях старых друзей появился, и встречаться мы стали еще реже.

Николай, правда, случалось, заглядывал то ко мне, то к Василию, но как-то наспех и всегда поздно, словно специально для того, чтобы позвонить Ирине и сказать, что скоро будет дома. Он стал рассеянным, все жаловался на занятость в институте и на то, что Ирина засиделась дома, погрязла в тряпках.

Также ночью забежал он как-то ко мне, чтобы посоветоваться, как обращаться с фотоаппаратом. Объявил, что завтра летит отдыхать в Сочи.

— Впервые в жизни увижу море!

Восторженный, нарядный, неприятно, не по-мужски, пахнувший приторными духами.

— Что ж не дождался конца экзаменов у Ольги — поехали бы всем семейством? — начал было я, но он перебил:

— Нет, нет! Один еду. Знаешь, вымотался, как черт. Ирина настаивает.

— Она ведь тоже не видела моря...

— Кто она? Ирина-то? Поедет позже... С Ольгой.

После возвращения Николая с курорта мы собрались в его по-купечески забитой разным добром новой квартире по печальному, но, увы, не зависящему от воли людей случаю: у Ирины умерла мать.

Все лето Ирина провела с Ольгой в деревне, и моря так и не увидела. Мать умерла у нее на глазах.

— Я ухожу спокойно. Знаю и рада, что судьба твоя, Ирина, в надежных руках.

Это были последние слова матери.

Николай Иванович

Как жестоко ошиблась Ирина мать!

Именно теперь, после смерти матери, и наступила самая горестная пора в жизни этой женщины. Лишь только теперь она поняла, что сама поставила себя в такое положение, когда, обесценив себя в своих собственных глазах, она обесценила себя в глазах не только мужа, но и самого родного ей существа — дочери. А поняв это, она поняла и то, что все лучшее в ее жизни

перечеркнуто и что теперь, на исходе четвертого десятка лет, главное ушло, и ушло безвозвратно.

Муж с дочерью все чаще и чаще уединялись, не допуская Ирину в особый мир своих интересов и с насмешкой подсказывая, что ее удел там, на кухне.

Ирина попробовала было заочно заниматься в университете, но, не получив поддержки близких, вскоре забросила учебу. Решила пойти работать. Куда-нибудь. Лишь бы не сидеть дома. Устроилась подчищицей в корректорском отделе издательства. На работе Ирине первое время казалось, что она обрела наконец потерянный смысл жизни.

Так было только первое время. А потом — что поделаешь, у нее доброе, любящее сердце! — потом она снова стала остро переживать разрушение столько лет создаваемого ею семейного очага и благополучия. Но тут еще один удар. Намеки и слухи, на которые прежде она не обращала внимания и в которые не верила, потому что не хотела верить, — самые худшие и страшные слухи оказались правдой.

Все оставалось на своих местах. По заведенному порядку люди приходили и уходили, завтракали и обедали, мылись и спали. Но сколько человеческого горя может скрываться иногда под личиной этого внешнего спокойствия и благополучия!..

— Итак, братцы, мне нужен ваш искренний дружеский совет. Я сейчас в таком положении, что не знаю, как быть. Все зависит от вас! — без соответствия со смыслом слов бодро, даже весело говорил Николай, подруливая к опушке густого сосняка.

Он специально собрал нас для «важного разговора» и всю дорогу неумолчно говорил и говорил, слишком часто повторяя слова «дружба» и «откровенность». Слишком уж часто.

— Беда это моя, друзья, или счастье, не знаю! Но штука в том, что я влюблен! Люблю глубоко и навсегда! — продолжал Николай, устанавливая на неровной земле среди магазинной снеди бутылку коньяка.

— Седина в бороду — бес в ребро. Банально! — невесело пробурчал Василий.

Николай попытался отшутиться, говоря о «возрастной болезни», о «второй молодости», уверяя, что придет время, когда и к нам постучится эта самая «последняя любовь». Василий снова прервал его краснобайство:

— Ты лучше прямо выкладывай, что тебе от нас надо-то.

Николай, на секунду прежний Николай, приосанился было, блеснул глазами, но тут же размяк, заюлил. Сначала он расписывал эту свою Флору, которая и ангел, и умница, и очень уж любит его, которая тоже кандидат наук и во всем, во всем

так близка и необходима ему. Наконец сказал главное, признался, что не имеет сил порвать свою связь, что она тоже замужем, что ни он, ни она разводиться не собираются, и что просит нас оказать воздействие на Ирину, чтобы та что-то поняла и что-то сделала.

Что должна была понять и сделать Ирина, он не объяснил.

— Если так любишь эту Флору и она тебя,— сказал Василий,— то разводитесь и стройте новую семью...

— Да, но в нашем положении... Жизнь, братцы,— сволочно сложная штукавина... У Флоры ведь двое детей...

— Чего ж ты хочешь?

Николай молчал. Молчал тем красноречивым молчанием, которое просило нашей солидарности с ним.

— А все остальное, Микола,— заговорил Василий,— сколько бы словесной шелухи ты ни намел, все остальное — самый обыкновенный блуд.

— Слушай, Василь, не оскорбляй! Мне нужен дружеский совет. Если бы вы познакомились с Флорой, вы бы увидели, какая это редкая женщина!

— Эх, Микола!— вздохнул Василий.— В чем ты прав, так это в том, что ты нуждаешься в откровенном мнении. Дело не только в этой Флоре. Непутевая бабенка, самая последняя, случается, морочит и более светлые головы, чем твоя. Дело сложнее и хуже. Дело в том, что с некоторых пор ты как бы переродился...

Василий глубоко дышал, он был тяжело болен и знал, что дни его сочтены.

— Последнее время,— продолжал Василий,— я несколько раз звонил и заезжал к тебе на работу, в академию. И все не заставал. После обеда ты там, как правило, не бываешь. Встречал академика Суровцева и доктора Кабышева... Да, кстати, ты знаешь его судьбу-то? Ведь он, как ты, сирота, даже подкидыш. Воспитывался в семье неграмотного якута. С помощью русских политических сыльных овладел грамотой. Из маленькой сибирской деревушки пешком пришел в Иркутск, потом подался в Москву, в коммунистический университет. А теперь у Михаила Федоровича свыше двухсот научных работ и звание доктора экономических наук. И, знаешь, человек со страстью: все сбережения тратит на картины итальянских художников XVI—XVII веков — двести пятьдесят редких полотен!

— Брось ты,— перебил Микола,— знаем мы эти штучки святош. Это, браток, не порыв сердца, а самый рациональный и здравый расчет: вкладывать деньги в постоянные ценности!

— Плохо ты думаешь о людях!

— Как вижу, так и думаю!

— ...Так вот Суровцев и Кабышев дали понять, что к делу ты охладел, что от коллектива оторвался и, занятый своей старческой страстишкой, плохо выполняешь свои прямые обязанности. Некогда боготворившая тебя институтская молодежь теперь над тобой посмеивается. Да не перебивай, послушай!.. Больно и обидно мне стало за тебя, потому что я тебя все равно люблю и потому что все это правда... Не случайно я тебе напомнил как-то отцовскую притчу о стекле и зеркале. Ты воспринял это как зависть — жалко. И деньги-то, если вдуматься, не очень велики, — у других есть куда боле, но они не заработаны, они идут к тебе по инерции. Ты успокоился положением «наследного принца» и ведешь праздную жизнь. И это Никола, сын бедного сельского учителя, сирота! Просто не верится порой, что наш чапарский хлопец заболел вдруг барством. А праздность чистой не бывает. Вот и подвернулась тебе эта... Флора. Не верю я в твою любовь. Просто с жиру беситесь.

А месяца через три Василий слег. Николай забегал раз или два, что-то рассказывал, какие-то глупые анекдоты.

На похороны Николай опоздал — затянулось объяснение с Флорой, — нагнал процессию у самого кладбища и все возмущался, что на ленте венка от нас было написано «от друзей», а не поименно.

А когда опускали гроб, то что-то вернулось к Николаю от бывшего Миколы. Бросил он свою горсть земли и вдруг заплакал навзрыд, как ребенок, не стесняясь и не сисяя удержат своих рыданий.

Долго потом не встречались мы с Николаем. Так долго, что незаметно перешли уже на имя и отчество, и теперь, смотря по случаю, обращались то по-старому, то официально.

— Ну, как докторская диссертация, Николай Иванович?

— Жить, жить надо, пока не ушли годы! А докторская потом. Надо брать от жизни все, что она дает.

Когда разгонишься на велосипеде и перестанешь нажимать на педали, то какое-то время, особенно если дорога под уклон, не сразу замечаешь снижения скорости. Велосипед катится по инерции иной раз долго, но потом все-таки приходится сворачивать на обочину, чтобы не упасть и не мешать другим.

Вот так и с Николаем Ивановичем. Работать он перестал. «Жил!» Но инерция нормальной жизни постепенно гасла.

Николай Иванович совсем остановился. Однако с дороги сворачивать не захотел, и, разумеется, пошли неприятности.

Они начались с того, что Николай пришел неподготовленным на одну лекцию, на другую, стал путаться, и студенты, народ непосредственный, начали открыто посмеиваться над своим до-

центом. Да и в академии все настойчивее и ощутимей давали понять, что «последняя любовь» — дело личное и что коллектив поддерживает только тех, кто приносит пользу или, проще говоря, кто работает.

Муж Флоры, профессор-невропатолог Евгений Францевич, стал напоминать своей неумной женушке, что у нее двое детей и семья и что возвращаться каждый божий день после полуночи «неудобно перед соседями». Лопнуло терпение и у Ирины. Она потребовала, чтобы Николай оставил ее.

Если неполадки в учебном институте и на основной работе, стоило Николаю «нажать на педали», на время устранялись и если немощные попытки профессора восстановить свое супружеское достоинство Флора каким-то образом легко сводила на нет, то Ирина, эта мягкая, послушная Ирина, вдруг оказалась в своем требовании непреклонной.

Николай стал убеждать жену, что любовь не вечна, что жизнь не роман, что на нынешней ступени развития общества материальная сторона все еще имеет большое значение и потому только существует институт семьи и брака, что в будущем люди от этого обременительного предрассудка освободятся и святая свобода любви будет торжествовать и блаженствовать. Наконец, что сердцу, мол, не прикажешь и что Ирина должна понять его любовь, как он поймет Ирину, если она тоже где-то найдет свою радость, свою «вторую молодость».

— Очень хорошо,— возражала Ирина,— если так, то уходи к той, что дороже всего. Пускай там тебе готовят обед, там тебя обстирывают и чистят.

В том-то и была, по мнению Николая и Флоры, беда Ирины, что любовь их она понимала, но по отсталости и ограниченности не хотела помогать их счастью своими способностями поварихи и прачки.

Не подобрав ключа к Иринуному сердцу, Николай стал действовать отмычкой. Этой отмычкой оказалась Ольга, ненаглядная Иренина дочка, которая ни разу в жизни не выглядела собственного носового платка. После серии душевных излияний родителя Ольга стала его союзницей. Но и это не помогло, семейные ссоры следовали одна за другой. Атмосфера так накалилась, что стало невмоготу всем троим.

— Я не могу так дальше,— призналась мне Ирина, когда мы встретились с ней в издательстве.— У меня нет больше сил. Ведь что бы там ни было, иногда мне кажется, что я просто ненавижу Николая, он отвратителен мне, но я не могу забыть прошлого. Как я была бы благодарна, если бы вы поговорили с мужем этой женщины. Не пойму таких мужчин: не согласен на развод с женой, с такой женой!

Я пошел к Евгению Францевичу. Пригласив меня в свой кабинет, где, как в прологе к «Фаусту», с оперной нарочитостью на столе, на подоконнике, на диване, на стульях и даже на полу — всюду лежали развернутые тома ученых трудов, и, усадив на освобожденное от книг кресло, профессор начал говорить, говорить. Его речь была неудержима и непрерываема, как струя воды из испорченного крана.

— Я очень рад, что вы нашли возможным и целесообразным принять участие в той проблеме, которая встала перед нашими двумя семьями. Флора — замечательная женщина. А этот выскочка и лжеученый — развратный совратитель. Флора была, правда, и до меня замужем, за мальчишкой-актером, у нее было несколько романов, но она душевная, замечательная женщина и серьезный ученый, не то, что этот негодяй. Я умею уважать чужие чувства. Мне понятно ее искреннее заблуждение, я готов на все. Ради детей, конечно. Зачем же разводиться?

Почему профессор тянется к этой женщине? Почему, неуклюже прячась за интересы детей, он всеми способами хочет удержать ее возле себя?

И что это за Флора? Роковая женщина оказалась с пышным хвостом грехов и пороков. Замужество, развод, серия романов, новое замужество, новые любовные похождения, и после всего этого — ангел для Николая. Что осталось в душе и сердце этой женщины? Чем она привлекла Николая и все еще удерживает профессора?

С ворохом этих вопросов я наконец поднялся и пожал потную руку Евгения Францевича, который никак не мог пресечь свое высокопарное красноречие.

— Поверьте, что все это я делаю не для себя. Моя жена будет мне вечно верна! Имя ей — Невропатология. Моя жизнь — наука! Я делаю все это во имя счастья детей и самой Флоры.

Он повысил голос так, чтобы было слышно в соседней комнате, где притаилась Флора.

— Я вполне отдаю себе отчет в том, что Флора — милая, умная женщина. Она совращена кознями. Она найдет силы порвать с мерзавцем и вернуться в семью. В конце концов я ей сделал диссертацию. А что ей даст этот прохвост?

Эх ты, Колька Иванович!

Чувство гадливости гнало меня подальше от профессорской квартиры. Чего-чего, а уж такого я никак не ожидал. Куда бы все было проще, будь профессор пусть слабохарактерным, но

порядочным человеком, обладающим элементарным чувством мужского достоинства, простой брезгливостью наконец.

Когда я вышел на улицу и отшагал метров сто, возле меня с визгом затормозил автомобиль. Распахнулась дверка.

— Садись, поговорим,— сказал Микола.

Не успел я как следует устроиться, как «Волга» рванулась вперед и, промчавшись по пустынным улицам засыпающего Минска, вылетела на простор шоссе. Навстречу нам какой-то космической фантазией повалил искрящийся в свете фар снег. Ехали молча. Мне начинать не хотелось, а Микола хотя и ждал, но, видимо, боялся этого объяснения.

— Ну, как, хорош субчик, этот профессор? — заговорил наконец Николай.

Я не ответил.

— Знаю, браток, почему молчишь! Ладно, черт с тобой, молчи,— продолжал Микола.— Но ты напрасно считаешь, что я круглый дурак и ничего не понимаю. Я, брат, так увяз во всем этом...

Микола замаялся. Умолк. Метель белым веником стегала по ветровому стеклу.

— Чего уж там, теперь захоти я вернуться к Ирине — не выйдет! Ведь кто-то, а я-то ее знаю. За это любил, за это и теперь... уважаю. Да, тут мои мосты сожжены... И сам теперь не пойму, откуда у меня набралось столько мерзости, чтобы принести ей такую боль! То есть, вообще-то говоря, она может и согласится, но... Это ведь как хрусталь. Разобьешь — склеить можно, а музыки нет, души-то нет хрустальной!.. И потом другое. Флора из-за меня перенесла два аборта. Сейчас снова беременна. Говорит, хочет ребенка, моего. Понимаешь? Так что путь у меня один. Заранее знаю, что не будет он радостен, но другого не дано... Я вот ждал от тебя совета и помощи, а в то же время сам прекрасно отдаю себе отчет в том, что нечего теперь мне советовать и нечем мне помочь: поздно! Можно только посочувствовать и пожалеть. Пропал я, брат, совсем пропал!..

Снова пауза раздумья и:

— ...А Флора? Она же глубоко несчастный человек. И все из-за этого профессора. Она попала ему на глаза тогда, когда он только начал делать свою карьеру. Без любви взял он ее. Взял, разодел, притворился поглощенным наукой слепцом, убеждал, что она особенная, с особыми потребностями, а на деле толкал в чужие объятия ради своей карьеры. Теперь доктор, профессор! Зачем она ему теперь, спросишь? О, этот иезуит принял за новую роль: теперь он жертва распутной жены, нежный отец семейства, праведный мученик со странностями и причудами ученого мужа. Она не знала от него ни взаимности, ни про-

стой женской радости, хотя она мать детей, которых любит. И вот, когда мы встретились... Знаешь, редко так люди подходят друг для друга. Оба мы ослепли от счастья. Все для нас перестало существовать: только мы, только она и я. Это было и счастье и боль, как последний поцелуй. Где-то подсознательно мы догадывались, что радость наша не вечна, и, боясь приближения конца, торопились наслаждаться этой охватившей нас, как обморок, любовью... А потом началось другое: я ведь не такой, как этот профессор, я стал ревновать ее к прошлому и стал брезговать этим прошлым. Я мучил ее, себя и вот... Вот и все.

Тут машина свернула с дороги и запрыгала по плохо накатанному проселку. Сзади звякнули бутылки.

— А теперь пьем! — с остервенением продолжал Микола.

— Впереди еще хуже.— Микола нервно засмеялся.— Мне вчера сказали, что готовятся прикрыть мою лабораторию. Это уж козни пошли, у нас, знаешь, псарня какая, зависти и интриг не меньше, чем в шекспировских трагедиях. Трудно мне теперь бороться: я на лопатках, «моральный разложение»! А жаль! Настоящее дело заварил было! Где теперь только не применяют закалку токами высокой частоты, а никто не знает законы ее обратимости. Прележит запчасть, шестеренка какая-нибудь, десяток лет — и нет у нее бывлой прочности. А я на пути определения этой закономерности. Теория этого дела вроде проясняется...

И Микола принялся втолковывать мне значимость начатых им работ, которые, как он говорил, имели большое научное и практическое значение. Но я думал о другом. Как же ты доказал до жизни такой, бывший рубаха парень?

Началось с самого обычного. Прежде в меру внимательный к своей внешности, он вдруг стал ревностно выдавать себя за великого знатока туалета. Начал выщипывать брови, лакировать ногти, подвивать и подкрашивать редеющие волосы. Накупил и нашил себе столько, что сам путал что к чему. Хотел придерживаться так называемого спортивного стиля, но это лишний раз убедило его, что молодость прошла и что фигура у него теперь далеко не атлетическая. Неудачи эти его нервировали, он стал капризен. Стоило кому-либо из знакомых надеть более модные ботинки, чем у него, как Николая одолевала зависть, которая распространялась и на отношения к хозяину модных ботинок.

Так же и с меблировкой квартиры. Целый год носился он с разными проектами: ездил в Ригу и Таллин, заказывал частникам, покупал, продавал, доставал — и в результате опять

впустую, опять разочарование от претенциозности и простого неудобства.

При таком мотовстве никаких, даже самых легких денег не хватало, и Николай, чтобы иметь новейший телевизор, магнитофон или карманный радиоприемник, добивался приобретения этих вещей «для служебных надобностей», чтобы потом тут же приспособить лично для себя.

Точно так же обзавелся он и дачей: она росла вместе с новым корпусом института, и, внимательно приглядевшись к ней, можно приметить, что металлическая сетка ограды — списанный институтский «неликвид», что дачная мебель хранит следы упаковки импортного оборудования, что оконные рамы, линолеум, облицовочные плитки, скобяные изделия и краски удивительно схожи с теми, что в его лаборатории.

Получив под свое начало научный коллектив, Николай рассчитывал, что «мальчики» поработают на него и их трудом он «въедет в доктора и академики». Однако, раскусив его аппетиты, «мальчики» потихоньку перебрались к другому шефу. Остались пустоголовые подхалимы, которые к науке были так же равнодушны, как он сам.

Тут вот и подвернулась Флора. Флора, конечно, ангел относительной чистоты, но кто ждет свежести от того, что присмотрел в магазине подержанных вещей?

Помнится, под каким-то предлогом Николай затащил меня, как он называл, в рай-шалаш, то есть в тайком снимаемую комнату свиданий, и познакомил с Флорой. На всем там лежала печать чего-то неумелого и нечистого. Стол был покрыт простыней, а посуду вместо полотенца вытирали залитой вином скатертью. Рыбные консервы положены в высокую хрустальную вазу, а вареная колбаса, как в настоящей забегаловке, нарезана неровными ломтями с кожурой.

Я присмотрелся к роковой женщине. Странно, первое, что бросалось в глаза и запоминалось сразу, — рот. Да, рот, полуткрытый, улыбающийся с влажной белизной ровного ряда зубов. Ни большие, как спелые сливы, глаза, ни будто рисованные правильные брови, ни морщинки — ничто не было в ее лице таким выразительным, как этот рот.

Когда она ко мне оборачивалась и что-то говорила, то против воли я смотрел ей не в глаза, как обычно, а в губы, которые красноречивее всего показывали, о чем она думала. Глаза ее ничего не выражали, ими она только любовалась собою в зеркале, в отражении темного стекла вечернего окна, в хроне сахарницы.

Вот, оказывается, какими бывают ангелы во плоти.

— Кисонька! — Николай держал Флору за руку. — Я вижу, ты хочешь произнести тост. Позволь налить!

Она жеманно поднялась и, будто застенчиво опустив свои сливы-глаза и прикусив нижнюю губу, тихо, с придыханием, почти шепотом сказала:

— За любовь!

Грустно и смешно звучал этот тост здесь. Разве можно назвать любовью то, что делает людей хуже, чем они были, что нужно прятать, что существует горем других, что, разрушая старое, не стремится создать своего?

...Вот о чем думал я, пока Николай втолковывал мне важность выяснения причин старения высокочастотной закалки.

Эх ты, Колька Иванович!

Конец?

Я вдумывался в трагедию Николая, и мне не хотелось верить в его обреченность. По правде говоря, я все ждал и надеялся, что вот позвонит или зайдет Микола и, как прежде, светясь своей заразительной улыбкой, предложит мировую, скажет, что все понял, что сама жизнь подсказала ему, как исправить и загладить его промахи и ошибки, его супружескую, отцовскую и человеческую вину.

Эх, как хотелось бы, чтобы так случилось!

Однако время шло, а до меня докатывались слухи о все новых и новых осложнениях и бедах, которые валились на Миколу голову. От руководства лабораторией его отстранили, надежды на докторскую степень рухнули, и все его краснословие по этому поводу оказалось обыкновенной неосведомленностью в последних достижениях науки. Персональное дело Николая разбиралось в партийных органах, и он расстался с партбилетом.

Ко всему этому в местной газете напечатали фельетон. Теперь нужно было либо кончать свой затянувшийся до одури блуд, либо надевать смиренный хомут официально супружеских уз с Флорой.

Как заюлил и завертелся Николай после этого фельетона! Если муж Флоры открыто противился разводу, то пылкий любовник при всей показной желанности этого шага в душе боялся его, как черт лаdana.

Я ждал Николая раскаявшегося. Он пришел другим. Я понял это, едва увидев его: ластивая улыбка растерянности и сжатые зубы затаенной злобы.

— Когда беда, все отвернулись, даже тот, которого я считал своим настоящим другом, — наступательно-добродушно, в том

сложном ключе, когда не поймешь, где шутка, а где нет, начал он с таким видом, будто между нами ничего не произошло.— До чего ж сволочная натура людская! Не враг же ты мне, поддержи мужика, не дай сожрать! Ведь фельетон — дело рук профессора, даже его любимые словечки попадаютсЯ. Эх, как она мерзка, эта человеческая жизнь! Люди как волки. Только притворяются, что не звери. В каждом из нас есть что-то животное. В каждом своя скотина. Один лязгает клыками, другой виляет хвостом. Один пьет кровь, другой довольствуется падалью. В общем, если не хочешь быть свидетелем людоедства в век космоса — помогай! А не поможешь, то...

— Что же тогда?

Он замялся, не зная, что ответить.

— Да, кстати,— сказал я,— ты слыхал, как распорядился профессор Кабышев своей коллекцией картин?.. Завещал музею изобразительных искусств родной ему Якутии. Была у Михаила Федоровича, как водится, и сберегательная книжка: наследники раскрыли и увидели, что там... пять рублей.

— Все это зуд самолюбия, погоня за оригинальностью, старческий маразм! — отмахнулся Николай.

— Теперь все-таки придется жениться на Флоре, так, что ли? — спросил я.

— Да-а... А что?

— Еще Василь советовал с этого начинать.

— Советовать хорошо! А мне это не нужно ни тогда, ни теперь. Нужно, чтобы Ирина не лезла в бутылку, а поняла, что я не первый и не последний, что все так и всегда так. Если бы смотрела на это, как другие, кто поумней, может, давно бы уже кончилась вся эта петрушка.

— Ты это всерьез?

— Я притворяться не умею. Живу, как птица: хочется пить — пою, не хочется — молчу. Знаешь, не пойму я этой житейской мудрости, когда вся мораль сводится к клочку бумаги. Если два человека полюбили друг друга, если им хорошо, то с бумажкой все в порядке, а без бумажки разврат...

Где ж он, прежний Микола?

Сидит осунувшийся, непричесанный, небритый. Воротник когда-то белой рубашки застиран до желтизны, помят, брюки не глажены, вероятно, месяца два, ботинки в пыли и грязи, на одном порвался шнурок. Плечи и колени заострились, кончики пальцев дрожат. Совсем старик. А глаза мечутся и уж не светятся, как прежде, одна только тусклая, недобрая, желтая усталость в них.

— Где живешь?

— В Ждановичах. На даче. Флора вот-вот родит.

— Счастлив?

Николай вскочил, забежал по комнате:

— Ты как следователь. К тебе за помощью, как к другу!

Поняв, что ни жалости, ни сострадания от меня не дождешься, Микола, подобно всем слабодушным, перешел на крик:

— Если бы Василь был жив! Он бы не философствовал!..

Я молчал.

Пауза слишком затянулась. Микола вышел из комнаты, но тут же вернулся и с тихим озлоблением, видно, в надежде сделать больно:

— Если тебе когда-нибудь станет трудно — а горе бывает у всякого, не обойдет и тебя, — ты не стесняйся, сообщи. Узнаешь, что у тебя есть друг. В душу, как ты, не полезу, просто сделаю что надо — и все! А за меня не волнуйся. Я вылезу. Еще покажу, на что способен Микола!

Примерно через полгода, будто по пророчеству Миколы, после одного из сердечных приступов я угодил в больницу, потом в санаторий и снова в больницу, на операцию... Словом, повернулось так, что я увидел, кто мне друг, а кто... так, только видимость.

В самую грозную для меня пору раздался телефонный звонок Миколы. Тогда мне, разумеется, ничего не сказали, а позже я узнал, что у Николая угнали машину и что он опять искал помощи — вспомнил, что я писал очерк о замечательном следователе. Рвался ко мне в больницу. Когда врачи не пустили, хотел проникнуть тайком. Но «Волга» вскоре нашлась, а Коля пропал.

Думалось, не будет у нас с Николаем больше ни встреч, ни объяснений: все и так яснее ясного.

А все-таки встретились. На годовщине смерти Василя. Смутился? Нет, опять сделал вид, будто ничего не случилось. Очень быстро опьянел и болтал без умолку:

— Я думал, разводы, суды и прочая ерунда вносят волнение. Чепуха! Одна потеха. Сидят лопухи и воображают, что читают человеческие души, а читают только кодексы. Раз-два и готово! Я там закатил такую речугу, что у профессора глаза вылупились от досады. Ну, уж отвел душу, насладился.

В словах захлебывающийся восторг, а в глазах все та же тусклая, желтая пустота.

— Говоря откровенно, хоть и седина и лысина, а я, черт возьми, молод: ведь отец полугодовалого хлопца! Вообще все в жизни как надо. Это ничего, что я опять словно студент. Студенты — самый веселый народ. Да, мальчишка растет в

трудностях — ничего, пускай закаляется, пускай будет злым и зубастым. В жизни нужны крепкие зубы и чугунные локти. Иначе пропадешь.

И опять Микола пустился в свою зоологическую философию. Потом:

— Слушайте, хлопцы, что ж вы приуныли? Давайте закрутим радиолу!

Он открыл тумбочку, вынул первую попавшуюся под руку пластинку и, не читая, пустил с середины.

...Еще не скоро молодость
Да с нами распрощается.
Люби, покуда любится,
Встречай, пока встречается...

Вдова Василя тихо всхлипывала в углу, а из Николая так и перло веселье. Он подошел к вдове.

— Дорогуша, голубушка, будет тебе слезы лить! Давай лучше выпьем! Ведь его не вернешь. Мертвое мертвым, живое живым, как сказал Сократ. Жизнь идет! А ты, смотри, бабенка еще ничего...

Звонкая пощечина прервала его красноречие...

Больше я Николая не видел. Говорят, что он жив и здоров. Все еще пытается выдать себя за счастливого и правого, за жертву человеческой ограниченности.

ОБОРОТЕНЬ

Анна, эта несчастная, измученная нескладной жизнью женщина, сидела в углу купе и украдкой бросала нежные взгляды на Николая.

В купе они остались одни. Николай прилег отдохнуть. А Анна... Анна была счастлива, так и светилась радостью.

Да, она пошла на все ради этого человека, который моложе на восемь лет. Пошла на все и сознательно переступила незримую черту между правдой и кривдой, законом и не законом. Лишь бы быть вместе с Николаем, лишь бы покрепче приязать его к себе, построить, наконец, семью. Тогда вернется здоровье, будут дети, все-все пойдет хорошо.

Вот уж и огни Оренбурга. Здесь ее знакомые. Помогут на первых порах. Здесь... Господи, неужели и ей улыбнулось счастье!

Еще раз посмотрела на Николая. Стройный, худощавый, сильный, с мужественным лицом и этими светлыми, льняными волосами... Она любовалась им.

Николай открыл глаза. Нет, он и не думал спать. Посмотрел на Анну, как чужой, как незнакомый, как...

— Коля, милый, что с тобой?

Он будто не слышал ее слов, молча встал, глянул в зеркало, сел напротив, сказал тихо, но твердо:

— Вот что... У меня сейчас начнется припадок. Слышишь? Ты выскочишь, крикнешь, что я сошел с ума,— и ходу. Чтоб я тебя больше не видел. Поняла?

Он придвинулся совсем близко, лицом к лицу:

— Ни-ког-да! И не вздумай пикнуть обо мне. Я до тебя доберусь везде, и — ты-то знаешь — моя рука не дрогнет.

Он еще что-то говорил, но Анна уже ничего не слушала. Карточный домик ее счастья рухнул. Он сидел напротив и буравил ее своим злым и страшным взглядом. Анна уже знала: она сделает все, что требует этот человек. От страха, от боли, от того, что теперь все кончено.

Николай рванул на себе рубашку — пуговицы скользнули, как арбузные семечки. Красивое лицо его перекосилось, и, в одну минуту перевернув все в купе, он больно ударил Анну. Ударил еще раз, еще больней, и Анна, вырвавшись в коридор, побежала к проводницам:

— Уймите его, он сошел с ума!

Мужчины кинулись к Николаю, скрутили его, кусающегося, плюющего, и потом дежурили в купе, чтобы без новых происшествий сдать безумца на первой же станции врачам.

Восемь дней пролежал Экерт в Оренбургской психиатрической больнице. В его истории болезни против диагноза «эпилепсия» сначала появился большой вопросительный знак, выведенный красным карандашом, потом Экерту сказали, что он здоров, и выписали из лечебницы.

Выписать выписали, а в больничном архиве появилась карточка, в которой значилось, что Неведомский Николай Иванович, 1914 года рождения, уроженец города Витебска, белорус...

А коли есть такая «карточка», то, стало быть, можно получить справку, что, мол, с такого-то по такое-то гражданин Неведомский Н. И. находился на лечении в Оренбургской психиатрической больнице. Все как положено, законно.

Неважно, что все эти анкетные данные для врачей имеют трехстепенное значение и записаны они формы ради, со слов самого «больного», который сочинил, что во время приступа был ограблен и что все его документы потеряны. Все это неважно. Важно, что совершенно законная, на бланке, с печатью,

с размашистой подписью справка эта появилась на свет божий и оказалась в руках Экерта.

Воодушевленный первым успехом, Экерт продолжал осуществлять свой замысел. Он прекрасно понимал, что на любом заводе или в колхозе рано или поздно его все равно ждет разоблачение. Надо было спрятаться подальше от людских глаз. Поэтому Экерт не ушел из психиатрической больницы. Только теперь он уже не симулировал эпилепсию — прошедший этап! — теперь он сделал ставку на жалость. И его пожалели, он получил возможность жить при колонии психических больных и работать молотобойцем.

Через год Экерт вошел в доверие, пролез в местком, заручился отличной характеристикой и направился в военкомат. Получив военный билет, он поспешил в милицию, и очень скоро его фотография красовалась на паспорте, где стоял штамп о его прописке в психиатрической колонии.

Не правда ли, ловко все получилось? Есть и паспорт, и постоянная прописка, и военный билет, а в адресном бюро Оренбурга Николай Иванович Неведомский не значится. Неведомского, конечно, никто не искал. Экерт об этом прекрасно знал, но двойная конспирация не помешает.

Так одна бумажка — справка о лечении некоего Неведомского — породила другую, более солидную, третью, четвертую... Экерт стал Неведомским, из латыша превратился в белоруса, из Артуровича перекрестился в Ивановича.

Другой бы теперь стал держать себя повольнее. Но осторожный Экерт решил продлить карантин. Время шло, шли дни, недели, месяцы и годы, и ради сохранения своей маски изверг искалечил жизнь еще одной женщине, искалечил только за то, что она его пожалела и поверила его басням.

Ксения Никаноровна знала, что мужа ей никто не заменит, как никто не заменит ее детям отца. Но прошло время — и Ксения Никаноровна стала подумывать о вторичном замужестве.

Тут, казалось, сама судьба свела ее с Неведомским. Тихий такой, замкнутый, обездоленный. Медицинской сестре вроде бы и не обязательно заходить к кузнецу, однако находилось то одно, то другое... И она стала привыкать к нему. Ксения даже скучала, если не видела его день-два. Беседы их затягивались, и однажды он наконец рассказал о себе.

— Знаешь, Аксинья, у меня, как и у тебя, слишком много боли накалило на сердце. Я белорус, а белорусы — люди молчаливые. Были у меня и семья и дети. Всего лишился. Немцы расстреляли. Все отняла у меня война... До сих пор снятся пожары... Потом партизанил... И вот как вернулся в Витебск,

так понял, что не могу ни часу быть там, где оставлено полжизни... Только здесь, вдалеке от Белоруссии, мне немного спокойнее стало.

Он вошел в ее дом. Жизнь есть жизнь. Разное у них случилось. Но когда Ксения видела мужа ласкающим детей, когда с ней самой он был нежен, ей казалось, что все наконец устроилось, все идет своим чередом.

Откуда ей было знать, что эти ласкавшие ее детей руки, эти же самые руки забирали избы, в которых заживо сжигали беспомощных старух и стариков, ребятишек...

...Но где же Анна? Как сложилась ее судьба после того, как Экерт расстался с ней в поезде?

Анна даже знакомым стыдилась показаться: ведь писала, что едет с мужем... Потом все же стала искать встречи со своим повелителем. Долго не нападала на его след. Наконец на пустынной улице окликнула.

Он остановился, посмотрелся, узнал, медленно-медленно подошел и опять тихо, но твердо процедил сквозь зубы:

— Увижу еще раз — убью!

И ушел. Уверенный, спокойный.

Боясь новой встречи, Анна вернулась в Ригу. В Риге опять пошла в домработницы. Когда хозяева узнали, что она припадочная, уволили. Подалась к другим, третьим... Лежала в психиатрической больнице... Снова нанялась в няньки...

Где бы Анна ни была, что бы ни делала, ее мысли часто возвращались к тем временам, когда она познакомилась с Экертом.

...После окончания войны вместе со многими другими власовцами Экерта направили в Ригу, в лагерь так называемых перемещенных лиц. Тогда он был еще Экертом.

«Репатриант» устроился на работу в строительное управление, потом — чернорабочий, истопник, кладовщик в бане. Вместе с дружкой своим Болдыревым, тоже власовцем, они пьянствуют, заводят любовниц и к скромным официальным заработкам прибавляют доходы от реализации краденого.

Через некоторое время Экерт, несколько озадачив своего дружка, вдруг отказывается от привычных любовных похождений и все свое внимание посвящает уборщице Анне, которая и неказиста, и старше Экерта, и душевнобольная к тому же.

Болдырев был озадачен, а Экерт целеустремленно принялся за осуществление новой осенившей его идеи. Анна привлекала его... болезнью. Экерт влюбил в себя свою жертву и, сблизившись, внимательно изучал признаки душевного недуга. Как актер, дабы лучше понять новую роль, иногда ищет прототипа своего героя, изучает его, так и Экерт постигал все тонкости

поведения и ощущений больной, порой умышленно вводя свою жертву в припадочное состояние.

Почувствовав власть над Анной, Экерт открылся ей в своем преступном прошлом, а потом старательно внушал больной женщине, что теперь и она должна отвечать за его грехи.

Вскоре сорвалась одна из экертовских махинаций: Надежда, сожительница Болдырева, была поймана на толкучке с ворованными вещами и на допросе в милиции выдала и своего любовника и Экерта...

Экерт понял: надо скрыться. И в тот же день он и Анна сели в поезд и отправились в Оренбург.

Теперь пришло время рассказать читателю, кто же такой Экерт и чем он, собственно говоря, знаменит. Итак, несколько страничек из биографии подлеца.

...Отец Экерта был из обрусевших немцев. Отчаянный хулиган и скандалист, он довел свою жену-латышку до того, что та повесилась, впрочем, и сам он умер вскоре. Советская власть избавила сирот от нищенской суммы. Младшая сестра Экерта стала врачом, брат — механиком. После школы Экерт окончил курсы трактористов, получил специальности токаря и шофера. Работал в колхозе, потом на торфозаводе. Жил в достатке, женился, стал отцом...

Началась война. Товарищи Экерта ушли кто в Красную Армию, кто в партизаны, а он с первых же дней немецкой оккупации пошел работать в полицию. Сначала думали люди, что это какая-то уловка: уж кому-кому, только не Экерту поднимать руку против Советов. Но потом, когда почувствовали его «работу» на себе, все сомнения рассеялись.

Такая «мелочь», как грабеж, в полицейской биографии Экерта была столь обыкновенна, что он это и за преступление не считал — «работал». Нужна свинья — отобрал, и все. Попалась на глаза гармонь — взял, и точка. К свадьбе (он второй раз женился, породнившись с местным бургомистром) невесте приспичило новую шубу. «Скажи, на ком нравится, та и твоя!» Но все это «мелочи».

...Деревня Барсуки окружена лесом. Однажды возле этой деревни партизаны обстреляли гитлеровцев. На другой день в Барсуки нагрянула карательная экспедиция. Все население собрали в центре села. Имущество вынесли на полицейские подводы. Дома подожгли.

Даже гитлеровцы сочли, что дело сделано, и вместе с обозом награбленного двинулись восояси. Так считали оккупанты, но их холуй на этом не остановился. То, что произошло дальше, лучше передать словами Екатерины Агрызко:

— Тогда мне было около десяти лет... Но я очень хорошо помню, все помню... Экерт зашел к нам в дом и потребовал угощения. Выпив водки и закусив, он тут же распорядился, чтобы все, что понравилось ему, унесли на повозки, и поджег наш дом, дом, в котором только что угощался... «Не бойтесь,— ухмылялся Экерт,— вам ничего не будет. Сожжем деревню и уйдем...» А потом, когда немцы уехали, Экерт вернулся с друзьями-полицаями. Всех, кто оставался в деревне, загнал в уцелевший дом... Человек сорок... Женщины, дети... Из нашей семьи туда попали все: и отец, и мать, и мы, ребята, даже трехмесячная моя сестренка... Отец, взяв на руки малютку, помню, стал просить Экерта, своего бывшего школьного товарища, чтобы тот пощадил хоть грудную... Экерт приоткрыл дверь, заржал своим жеребьячьим смехом, оттолкнул отца и задвинул засов. Почуввав недоброе, люди начали кричать, плакать... Когда дым заполнил комнату и стало нестерпимо жарко, люди пробовали выбрасываться из окон и попадали под пули. Потом те, кто еще оставался в живых, проломили дверь, вырвались наружу — под пулеметные и автоматные очереди... Мне посчастливилось: пули просвистели мимо. В огороде нашли четырехлетнего братишку. Мы побежали в лес. Вдруг брат повис на моей руке. Лежит в борозде между картофелем, из затылка кровь струится... А позади вопли, стоны... Я снова бросилась к лесу. Добежала до опушки, увидела своего раненого деда. Потом залезла на березку. Стала рассматривать, что творится в деревне. Хотела — глупая совсем была — опять бежать к отцу с матерью, к горящему дому... Вдруг замечаю, что кто-то из полицейских пристрелил дедушку и метился в меня. Я спрыгнула с дерева — платок остался на березе — и кинулась к болоту. Опять засвистели пули... Я упала на землю... Когда очнулась, голосов уже не слыхала... Мерещилась мне только гармошка, которая вроде бы не играла, а будто собакой заливалась... Из всех, кого в избу загнали, живой осталась одна я... Так в один день я лишилась отца, матери, двух сестер, братика и деда...

— Катя тогда еще ребенком была,— дополняет другая свидетельница трагедии, Наталья Герасимовна Щербакова.— К тому же на нее тогда охотились, как на затравленного зайчонка. Где ей было примечать! А я в тот день, 24 июня 1942 года, шла в Барсуки к родственникам. Увидела пожар, схоронилась в кустах рядом с деревней. Я-то хорошо видела, как гнался этот гад... Экерт — по фамилии противно называть душегуба — за Катюшей. Потом еще хвалился, что «седьмой пулей, а все же уложил!». Думал: упала — значит, попал. Нет, Кате гармошка не почудилась. Еще горел дом, еще слышались стоны, а они играли на этой самой гармошке, людоеды... На моих глазах

Экерт пристрелил мою десятилетнюю сестренку Верочку, которая кричала: «Мама, дай водички! Мама, пить хочется!» А мама была уже мертвая. Я рядом, сердце разрывается, а помочь не могу... Бабушку мою закололи ножом под ребро...

— ...Люди передали мне, что Экерт расстрелял моего брата, Павла Иосифовича Акуционка, с женой и девятимесячной дочкой. Указали место. Я едва признала их: лица изуродованы разрывными пулями... У крошечной девочки в кулачке зажата немецкая конфета. Такие конфеты были только у фашистов. Видно, перед тем, как расстрелять, дали ей эту проклятую конфету, чтобы не плакала. Сначала конфету, потом пулю...

Это из рассказа Марии Иосифовны Жеребковой, жительницы деревни Зуи.

Долго не удавалось арестовать оккупантам бывшего председателя сельского Совета Владимира Алексеевича Алексеева. Наконец гитлеровский холуй достиг цели. Когда в Оболе развернула свою деятельность молодежная организация «Юные мстители», когда оккупанты были потрясены то взрывом водоканки на железнодорожной станции, то цистерны с горючим, то моста на шоссе, когда в воздух взлетел сам зондерфюрер вместе со своим лимузином,— когда все это началось, гитлеровцы поручили Экерту выловить молодых патриотов. И здесь приложил он свои грязные руки.

Когда советские войска приблизились к Оболю, Экерт вместе с фашистами удрал на Запад. Пошел в армию Власова. После разгрома гитлеровской Германии Экерт попытался найти убежище в американской зоне, написал просительное заявление. Но тогда в военной американской администрации нашлись люди, которые побрезговали им.

А теперь Экерт стал Неведомским. Следы замечены весьма умело. Но его искали. Искали давно. Искали безуспешно. Но поиски не прекращались. Они пошли еще и по другой линии — стали разыскивать Анну...

Нелегкая задача выпала на долю сотрудника Комитета государственной безопасности Белоруссии Сергея Петровича Юрьева. Вначале было известно об Анне только то, что она Анна. Даже фамилии ее не знали: ведь работала она уборщицей в бане временно, без оформления.

Но Юрьев не отчаивался. Он прибегнул к испытанному средству советских чекистов: обратился за помощью к людям, которые встречались с Анной.

Беседы, беседы, беседы. Дни, ночи, недели, недели... А результаты? Весьма неутешительные. Правда, кое-что удалось

установить: словесный портрет Анны и то, что в Риге до работы в бане она жила у кого-то домработницей, где-то в районе порта.

И опять дни, ночи, недели... Сергей Петрович обошел все улицы, прилегающие к порту, десятки дворов и домов, узнал о трех Аннах-домработницах. Одна из них жила в семье моряка Голодушко. Семья эта давно уехала из Риги, но Юрьеву довольно быстро удалось встретиться с женой Голодушко, и та подтвердила, что домработницей у них в Риге была та самая Анна, что отчество ее — Ивановна, а вот фамилия забылась. Сложная какая-то фамилия. Стало известно и то, что из Риги Анна переехала в Ленинград.

Что ж, надо ехать в Ленинград. В Ленинграде было тогда 2 648 Анн Ивановн.

Здесь не рассказать обо всех неоправдавшихся надеждах, о разочарованиях, пережитых Юрьевым. Поэтому, опустив очень многое, скажем сразу, чем кончились поиски в Ленинграде. Наиболее подходящая по всем приметам Анна — Анна Ивановна Брек-Стефановская жила в няньках у торгового работника, которого после неприятностей по службе перевели в Горький. Домработница выписалась из Ленинграда вместе с хозяевами.

В Горьком от Семена Михайловича Шлыка и его супруги Фаины Захаровны Юрьев только и узнал, что Анна Ивановна Брек-Стефановская действительно выехала одновременно с ними из Ленинграда, а куда... она якобы не сказала. Правда, вскоре Юрьев догадался о причинах такой неосведомленности: Анна Ивановна могла рассказать о таких спекулятивных махинациях своего бывшего хозяина, за которые одним понижением по службе он бы не отделался.

Торгаш Семен Михайлович потерял память еще по другой причине: боялся, что станут известны шашни с женой московского друга, его покровителя и защитника. Уж кто-кто, а Анна знала, что творилось целый месяц на ленинградской квартире Шлыка, пока его друг-покровитель был в далекой командировке, а Фаина Захаровна набиралась здоровья на берегу Черного моря.

Юрьев продолжает поиски и наконец выясняет, что Анна Ивановна — вовсе не Брек-Стефановская, а просто Телегина и что живет она под Каширой у своей одинокой престарелой тети.

Конец?

Еще нет.

Анна Ивановна Телегина оказалась действительно тяжело-больным человеком. Находясь в душевном равновесии, которое приходило к ней тогда совсем редко, она решительно ничего не хотела говорить об Экерте: пуще смерти боялась его мести.

Однако Сергей Петрович не отступал. Анну Ивановну осматривают крупнейшие психиатры. Болезнь ее признается излечимой, но... Но на это потребуется слишком много времени. Что ж, Юрьев ждет.

Долго-долго, ой как долго тянется время. «Где теперь Экерт? Что делает?»

Врачи оказались правы: Анна Ивановна начала поправляться. Наконец пришел день, когда, по заключению медиков, она готова была к деловым беседам.

...Когда Экерту был предъявлен ордер на арест, тот спокойно отодвинул бумажку в сторону и с добродушной улыбкой сказал:

— Тут, видно, какое-то недоразумение, дорогой товарищ. Вы ошиблись. Я не этот, как его... Экерт Николай Артурович. Черт, имя-то какое, сразу не выговоришь! Я Николай Иванович Неведомский.

— Если хотите тянуть комедию,— так же спокойно ответил Юрьев,— вот ордер на арест Николая Ивановича Неведомского. Устраивает?

...В ходе следствия Экерт долго упорствовал, но после очных ставок с его бывшими соратниками по полицейскому разгулу в годы оккупации, припертый к стене, сознался во всем.

— Суд идет!

Зрительный зал еще не совсем достроенного клуба завода торфоизоляционных изделий, самое вместительное помещение в Оболе, забит до отказа. Многие из пришедших — братья и сестры, отцы, матери и дети тех, кого истязал, жег и убивал этот выродок.

По просьбе публики конвойный офицер предлагает Экерту повернуться лицом к зрительному залу. Экерт в замешательстве. Потом как-то по-бандитски криво оборачивается. Он понимает: если б не надежная охрана, через минуту судить было бы некого.

Но закон есть закон, и выездная сессия Верховного Суда Белорусской ССР приступает к публичному разбору дела предателя Родины. Оглашается обвинительное заключение, идет допрос подсудимого, потом приглашают свидетелей. Собственно говоря, свидетели — весь зал и те, кто на улице, — они не попали в клуб и слушают процесс через репродукторы.

Со мной рядом сидит комсомольский вожак легендарной подпольной организации «Юные мстители». Тогда ее, отчаянную девушку, звали Фрузой. Теперь она Ефросинья Савельевна Зенькова, Герой Советского Союза. Теперь у нее своя семья, растет дочь. Зенькова тут, в зале, но нет здесь Героя Со-

ветского Союза Зины Портновой, нет Володи Езовитова, Нины Азолиной, Марии Лузгиной и других замечательных ребят, погибших не без содействия Экерта... Не может удержать рыдания Екатерина Агрызко: вспоминает мать, отца, сестер, брата и деда. Куда ни глянешь — везде слезы, у каждого свое неутешное горе, которое ни простить, ни забыть невозможно. А Экерт?

Время ничуть не изменило его. О том, что такое раскаяние, он понятия не имеет. То прикидывается слепым орудием, выполнявшим волю гитлеровцев, то объявляет о полном провале в памяти, то вдруг неожиданно ухмыльнется, и смех его, вызывая ужас, напоминает ту гармошку, что, как сказала Екатерина Агрызко, не играла, а собакой заливалась. Я подхожу поближе, чтобы сфотографировать его, и на какой-то миг мне кажется, что я один на один в клетке со взбесившимся зверем.

Выездная сессия Верховного Суда БССР приговорила Экерта к расстрелу.

Валентин Георгиевич Пономарев

РАССКАЖИ МОИМ ДЕВОЧКАМ...

Редактор — **П. КРАВЧЕНКО.**

Технический редактор **Я. Борисов.**

А 00328. Подписано к печати 7/II 1969 г. Формат бум. 70×108^{1/32}.
Объем 2,10 условн. печ. л. 2,90 учетно-изд. л. Тираж 100 500.
Изд. № 392. Заказ № 3625. Цена 6 коп.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина.
Москва, А-47, ул. «Правды», 24.

ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ДОМАШНЕГО ИМУЩЕСТВА

Страхование домашнего имущества проводится на случай гибели или повреждения его от стихийных бедствий (пожара, продолжительных дождей, внезапного выхода подпочвенных вод и т. д.), от аварий отопительной системы и водопроводной сети, проникновения воды из соседних помещений, а также на случай похищения.

● Выплата страхового возмещения производится в размере причиненного ущерба, но не выше суммы, указанной в договоре.

● Договор страхования может быть заключен на срок от 2 до 6 месяцев или на 1 год.

● Размер страхового взноса устанавливается в зависимости от местонахождения имущества и огнестойкости строений и составляет в год с каждых 100 рублей страховой суммы: в городах от 10 до 25 коп. и на селе от 15 до 60 коп.

Для оформления договора обращайтесь в инспекцию или к агенту Госстраха.

Главное управление государственного
страхования РСФСР